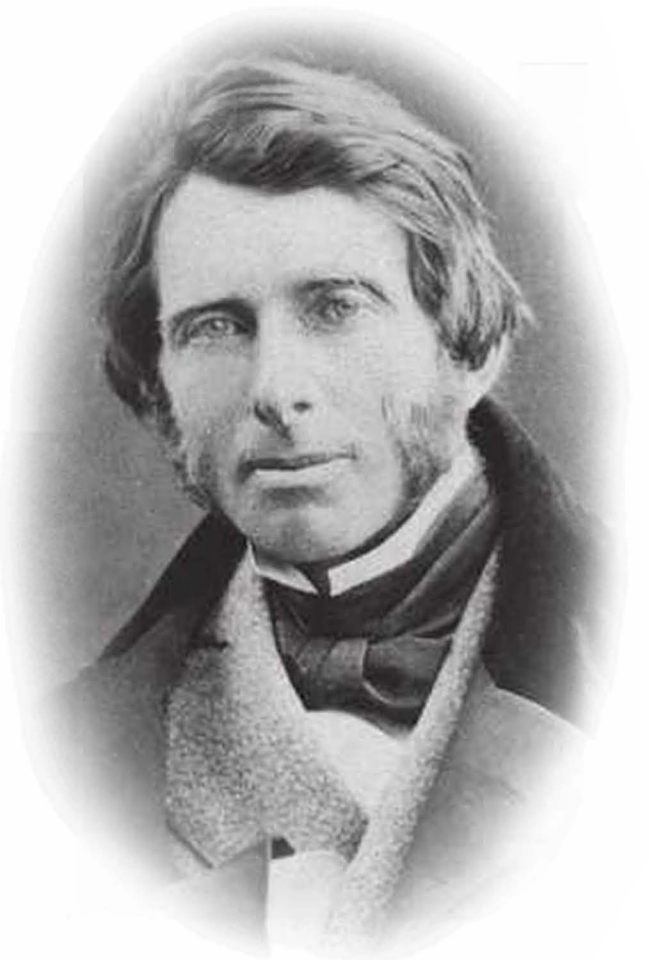
Искусство
и действительность

ДЖОН РЁСКИН
СЕЛЬСКИЕ ЛИСТЬЯ

Избранные страницы
из «Современных художников»

РИПОЛ
КЛАССИК



JOHN RUSKIN
FRONDES AGRESTES

Искусство
и действительность

ДЖОН РЁСКИН
СЕЛЬСКИЕ ЛИСТЬЯ

ИЗБРАННЫЕ СТРАНИЦЫ
ИЗ «СОВРЕМЕННЫХ ХУДОЖНИКОВ»

РИПОЛ
КЛАССИК
Москва

УДК 7.0
ББК 87.8
Р43

Перевод с английского Л. П. Никифоровой
Вступительная статья О. В. Разумовской

Рёскин, Джон

Р43 Сельские листья. Избранные страницы из «Современных художников» / Д. Рёскин ; [пер. с англ. Л. П. Никифоровой; вступит. ст. О. В. Разумовской]. — М. : РИПОЛ классик, 2018. — 240 с. — (Искусство и действительность).

ISBN 978-5-386-10693-5

Эпоху прерафаэлитов сложно представить без наиболее известного искусствоведа того времени Джона Рёскина.

В 1843 году Рёскин издал первый из пяти томов трактата о современных ему живописцах. В «Современных художниках» Джон Рёскин вывел многие принципы искусствоведения, заговорил об искусстве как универсальном языке.

В 1884 году критик вернулся к «Современным художникам», сделав из пятитомника выборку эссе и тезисов, успевших за эти годы «обрасти» дополнениями и пояснениями. Результатом этого пересмотра и стало сочинение «Сельские листья», где Рёскин говорит не только о принципах искусства, силе воображения и роли нравственности, но и подробно описывает явления природы, часто изображаемые на картинах его современников.

Настоящее издание сопровождается вступительной статьёй специалиста по литературе и искусству Оксаны Разумовской.

УДК 7.0
ББК 87.8

© Разумовская О. В.,
вступительная статья, 2018
© Издание, оформление.
ООО Группа Компаний
«РИПОЛ классик», 2018

ISBN 978-5-386-10693-5

«Frondes agrestis»: осенние листья Джона Рёскина

Мне кажутся теперь удивительными мои прежние надежды, но тогда жив был Тёрнер, солнце сияло и реки сверкали...

Джон Рёскин

Среди работ, посвященных Джону Рёскину, практически ни одна не обходится без таких определений его личности, как «эрудит» и «филантроп»*. Он и в самом деле заслуживал обе характеристики — едва ли кто-то из его современников был столь же разносто-

---

* Для обозначения столь разносторонне развитых и одаренных людей, как Рёскин, в английском языке есть еще слово «polymath» — «универсальный человек, энциклопедист». Принадлежность к «племени» полиматов ставит Рёскина в один ряд с такими выдающимися деятелями искусства, как Леонардо да Винчи, Вольтер, Гёте, М.В. Ломоносов.

ронне образован (и одарен), и уж точно никто из интеллектуалов его круга не пытался столь деятельно улучшать жизнь рабочего класса. Рёскин не только писал для его представителей «просвещающие статьи», но и читал им лекции на общественных началах, принимал участие в работе различных благотворительных и образовательных учреждений, стал основателем Общества св. Георгия*, а при необходимости не гнушался сам браться за лопату или метлу ради улучшения условий жизни и труда простых англичан**. В сфе-

* Благотворительное учреждение в форме коммуны, деятельность которого была направлена на возрождение традиций ручного труда, одухотворенного подлинным творческим импульсом, а не промышленной необходимостью. Общество св. Георгия было учреждено Рёскиным в 1871 году и существует по настоящий момент.

** Рёскин неоднократно принимал участие в работах по благоустройству городских территорий и коммуникаций. Так, в 1874-м он собрал группу студентов для ремонта дороги в окрестностях Оксфорда (в их числе оказался юный Оскар Уайльд, описавший этот эпизод). Современники были свидетелями того, как Рёскин помогал в уборке улиц и перекрестков, хотя был уже в преклонном возрасте.

ре умственной деятельности он был столь же неутомим. Его творческое наследие насчитывает около сорока томов, включающих в себя работы по ботанике, геологии, минералогии, педагогике, политической экономике, этике, социологии и другим гуманитарным и естественным наукам. Но больше всего энергии, вдохновения и душевных сил Рёскин затратил на всестороннее изучение и освещение двух объектов, в его восприятии тесно связанных между собой, — Природы и Искусства. Эта взаимосвязь определяла тематику его работ и направление его интересов с самого раннего возраста.

Джон Рёскин был единственным и довольно поздним, по викторианским меркам, ребенком своих родителей — тридцатисемилетней Маргарет и тридцатитрехлетнего Джона Джеймса Рёскина. Отец будущего критика и поэта был успешным виноторговцем; бизнес перешел к нему по наследству, но «в комплекте» с долгами и запутанными делами, так что процветания и респектабельности Джону Джеймсу пришлось добиваться своими сила-

ми. Возможно, поэтому он так высоко ценил те возможности самообразования и личностного развития, которые позволял его высокий уровень дохода. Рёскин-старший увлекался живописью и поэзией, регулярно пополнял свою коллекцию предметов искусства и считал лучшим отдыхом послеобеденное чтение Шекспира, Байрона или Вальтера Скотта в узком семейном кругу.

Мать будущего критика происходила из семьи шотландских протестантов, известных строгостью нравов и беспрекословным следованием религиозным догматам. Миссис Рёскин ставила Святое Писание выше любых других форм словесности и ежедневно читала с Джоном Библию, заставляя ребенка выучивать целые главы наизусть, — опыт, впоследствии существенно повлиявший на его стиль и манеру письма, а также риторику его выступлений и весь образ мыслей. Ему никогда не приходилось судорожно рыться в памяти в поисках нужной цитаты или эффектной параллели: библейские образы и словесные обороты естественным образом вплетались в по-

ток его рассуждений или текст лекций. Суровое благочестие миссис Рёскин благополучно уживалось с материнскими амбициями, которые подкреплялись рано проявившейся одаренностью мальчика, и в своих мечтах она видела сына епископом и знаменитым проповедником. Рёскин-старший тоже предполагал, что его наследника ожидает великое будущее, правда, в несколько иной сфере. Он надеялся стать свидетелем литературного триумфа Джона и получения им титула поэта-лауреата*. Оба родителя прикладывали значительные усилия для реализации своих честолюбивых замыслов, и в возрасте четырех лет Джон уже умел читать и писать, а в семь начал сочинять первые стихи.

Жизнь, лишенная обычных для детского возраста забав и развлечений, могла быть для Джона безрадостной, если бы ее не скрашивали путешествия, в которых он всегда сопровождал отца и мать. Старший Рёскин совершал частые деловые поездки по Англии и Шотлан-

* Официальное звание придворного поэта в Англии, присваивается с XVII века.

дии, а также на континент, совмещая пользу для своего предприятия с чисто эстетическим удовольствием от знакомства с новыми местами и посещения достопримечательностей. Джон разделял восторг своего отца по поводу созерцания природных и рукотворных красот и посвятил им ряд своих ранних стихотворений, которые были опубликованы при поддержке Рёскина-старшего. К тому моменту, когда семнадцатилетний Джон был зачислен в один из лучших колледжей Оксфорда, Крайст-Чёрч, он уже был автором ряда поэтических и прозаических сочинений, отчетливо демонстрирующих уровень его неординарного дарования. Несмотря на юный возраст, Рёскин уже тогда обладал почти полностью сформировавшейся системой взглядов и убеждений, главными ориентирами которой были искусство, природа, религия и просветительская деятельность*.

* По воспоминаниям родных, едва достигнув возраста трех лет, маленький Джон завел обыкновение «проповедовать», залезая на стул и подражая священнику местной церкви.

Учеба в колледже и затем в университете стала для Джона Рёскина периодом не столько интеллектуального роста (который не нуждался в дополнительной стимуляции), сколько расширения горизонтов общественного признания и самореализации. Несмотря на неусыпный контроль родителей и активное участие в его жизни*, Рёскин получил возможность встречаться с людьми своего культурного уровня и круга интересов и стать частью университетского и столичного интеллектуального сообщества. Наиболее знаковым событием этого периода, на долгие годы определившим курс и характер искусствоведческих изысканий Рёскина, стало его знакомство с художником Уильямом Тёрнером (1775—1851), выдающимся представителем английского романтизма. Его пейзажи были представлены

* Миссис Рёскин приехала в Оксфорд вместе с пожилой няней Джона и сняла квартиру недалеко от его жилья, чтобы заботиться о его здоровье и ненавязчиво контролировать сына. Отец полностью обеспечивал Джона финансово, в том числе оплачивал его путешествия и приобретения — книги и предметы искусства.

в домашней коллекции Рёскина-старшего, и юный Джон на их примере осмыслял возможности живописи как средства воссоздания и раскрытия истинной красоты природы. В подростковом возрасте он получил в подарок роскошно изданную книгу Роджерса «Италия»*, оформленную гравюрами Тёрнера, и был совершенно ими очарован. Открытие великолепных пейзажных зарисовок работы Тёрнера ускорило момент появления на свет Рёскина-художника, хотя в этом «ам-

* Сэмюэл Роджерс (1763—1855) был поэтом-романтиком «второго ранга», уступающим по значимости таким фигурам, как Байрон или Вордсворт, хотя при жизни пользовался у читателей популярностью. Сборник стихотворных зарисовок «Италия» Роджерс написал по мотивам своего путешествия в эту страну. Книга была принята критиками и широкой публикой весьма сдержанно, но Роджерс — не только поэт, но еще и банкир, человек дела, — предпринял переделку и переиздание сборника, пригласив известных художников (в том числе Тёрнера) принять участие в его оформлении. Тёрнер иллюстрировал сочинения многих писателей, таких как Милтон и Вальтер Скотт, однако наибольшую известность в этой сфере ему принесли именно пейзажные наброски для «Италии».

плуа» он не добился такого признания, как в художественной критике или эссеистике.

Как и сам Рёскин, Уильям Тёрнер был эксцентричен и талантлив на грани гениальности и безумия*, часто шел «против течения» и во многом опережал свое время. Он, бесспорно, был самородком, прирожденным художником, однако его дарование было в значительной мере «отшлифовано» обучением и последующей работой в Королевской академии. В задачи этого заведения входило создание музейного фонда лучших картин английских художников, а также формирование национальной школы живописи и воспитания эстетического вкуса у широкой публики. Просветительская деятельность требовала от академиков значительной осторожности в отборе персоналий, достойных представлять английское искусство не только перед современниками, но и в веках, что неизбежно привело к консерватизму и реакци-

* Печальное созвучие их судеб заключалось как в личной неустроенности, так и в душевном заболевании, омрачившем финал во всех остальных отношениях достойно и продуктивно прожитой жизни.

онным тенденциям в политике учреждения и превратило его в оплот воинствующего традиционализма, опирающегося на авторитет «древних» и уже ставшие архаичными неоклассические принципы.

Уильям Тёрнер был одним из лучших из выпускников академии, но не разделял консервативных взглядов своих наставников и собратьев по ремеслу — его работы относились к романтическому стилю, хотя некоторые искусствоведы считают Тёрнера слишком авангардным и для этого течения, усматривая в его произведениях, особенно экспериментальных поздних работах, предпосылки импрессионизма. Неудивительно, что его творчество, на раннем этапе стремительно обретавшее поклонников как в академии, так и за ее стенами, впоследствии стало вызывать у публики недоумение, а у критиков — негодование. Об одной из его зрелых картин, «Невольничий корабль» (1840)*, Марк Твен саркастически

* Эту картину Рёскин-старший приобрел в подарок своему сыну по случаю восторженного приема критиками первого тома его «Современных художни-

писал в своем путевом дневнике «Пешком по Европе»: «Некий бостонский журналист отправился взглянуть на „Невольничий корабль“, утопающий в чудовищном разливе красно-желтых тонов, и потом говорил, что этот корабль напоминает ему рыжую с черны-

---

ков». Марк Твен с юмором комментирует роль Рёскина в своем «прозрении» относительно этой картины: «Что красная тряпка для быка, был для меня „Невольничий корабль“ Тёрнера, пока я не начал учиться живописи. Вот и видно, что мистер Рёскин достиг вершин образования: картина эта восхищает его в такой же мере, в какой она бесила меня в прошлом году, когда я еще пребывал в невежестве. Изощренный вкус позволяет ему — как и мне сегодня — видеть воду в потоках кричаще-желтой тины и естественные световые эффекты в чудовищном смешении дыма и пламени и багровых извержениях закатных великолепий; этот вкус помогает ему — как и мне сегодня — мириться с плывущей по воде якорной цепью и другими неплавучими телами, мириться с рыбами, шныряющими по поверхности той же тины, то бишь воды. Картина эта есть, в сущности, утверждение невозможного, иначе говоря — ложь; надо пройти основательную дрессировку, чтобы научиться находить истину во лжи. Мистеру Рёскину эта выучка пошла на пользу, да и мне она пошла на пользу, благодарение богу» («Пешком по Европе», глава 24. Пер. Р. Гальпериной).

ми разводами припадочную кошку, бьющуюся на блюде помидоров. В то время, по своему невежеству и бескультурью, я счел это замечание удачным и даже подумал: вот человек, которому ничто не застит свет».

В 1836 году Тёрнер, уже снискавший прочную славу непревзойденного пейзажиста, певца живописных руин и кораблекрушений, представил на выставке Королевской академии работы в нехарактерном для него стиле*, оттолкнувшем многих прежних поклонников, однако окончательно завоевавшем сердце юного Рёскина. Влиятельный журнал «Блэквуд» опубликовал разгромную рецензию на картины Тёрнера, и Рёскин взялся за перо, чтобы заступиться за своего кумира и на его примере показать английской публике, в чем заключается принцип «следования природе», по мнению критиков, нарушенный Тёрнером, а с точки зрения его защитника — возведенный им на новый эстетический уровень.

* «Джульетта и кормилица», «Меркурий и Аргус».

Прежде чем отправить свое эссе в редакцию «Блэквуда», Рёскин, по совету отца, послал его для ознакомления самому Тёрнеру, который снисходительно отверг попытки столь рьяного заступничества, а само эссе переадресовал покупателю одной из обсуждаемых картин. Хотя этот восторженный текст так и не был напечатан, замысел — на примере Тёрнера противопоставить устаревшей классике эстетические открытия современных художников — продолжал формироваться в сознании молодого критика и лег в основу его трактата о «старом» и «новом» искусстве, над которым Рёскин начал работать в 1842 году. Получившееся сочинение Рёскин собирался опубликовать под заглавием «Тёрнер и древние» («Turner and the Ancients»), но по совету своего наставника и редактора поменял название на «Современные художники»*. Рукопись

* Полное название: «Modern Painters: their Superiority in the Art of Landscape Painting to all the Ancient Masters proved by Examples of the True, the Beautiful, and the Intellectual, from the Works of Modern Artists, especially from those of J. M. W. Turner, Esq., R.A».

была без промедлений принята к печати, поскольку в интеллектуальных кругах Рёскин уже успел прослыть многообещающим молодым критиком, и от него ждали особенного «дебюта» в рамках большой формы (его эссе и статьи уже были хорошо известны публике). Книга была принята благожелательно, хотя экзальтированная риторика Рёскина и его особое пристрастие к Тёрнеру вызвали немало критических замечаний и даже стали предметом пародирования*.

Трактат «Современные художники» оказался лишь первой частью пятитомного цикла (1843—1860), в рамках которого Рёскин осветил практически все значимые явления современной ему английской культуры, сопоставляя

* Автор трактата сравнивал своего любимого художника с ангелом Апокалипсиса и описывал как пророка, «посланного Богом, чтобы открыть человечеству тайны мироздания». В переизданиях первого тома Рёскин убрал часть славословий в адрес Тёрнера, не в угоду критикам, а ради избавления от стилистических погрешностей, выдающих юный возраст автора (Рёскин закончил первый том «Современных художников», когда ему было всего двадцать три года).

ее с античным, средневековым и ренессансным искусством. Трудясь над каждым из фолиантов, Рёскин продолжал развивать свою эстетическую концепцию, поэтому наряду с новыми книгами серии публиковались и существенно переработанные предыдущие тома. В период работы над «Современными художниками» Рёскин много путешествовал по Европе, посещал художественные музеи и памятники архитектуры, делал зарисовки старинных зданий и поразивших его пейзажей. По мере ознакомления с континентальным искусством он переделывал уже вышедшие тома, заменяя примеры из английского искусства западноевропейскими именами. Неизменным оставался лишь ведущий принцип эстетической философии Рёскина, раскрытию которого был посвящен не только цикл трактатов «Современные художники», но и вся его критика, публицистика и собственное художественное творчество: «Следовать природе со всей искренностью сердца... ничего не отвергая, ничего не выбирая и ничего не презирая»*.

* «Современные художники», том 1.

* * *

Финальный том «Современных художников» вышел в 1860 году, когда Рёскину уже исполнилось сорок лет. Он прожил ровно половину отведенного ему земного срока, и время юношеских восторгов и заблуждений давно осталось позади. За плечами у него были неудачный брак и скандальный развод, публикация ряда важных критических и научно-популярных работ, посвященных архитектуре, искусству, естествознанию и политологии, дебют в качестве преподавателя и свободного лектора, постепенный переход от преимущественно эстетической направленности его интересов к социально-экономической проблематике. Хотя Рёскин продолжал заниматься изучением и преподаванием искусства — его теории, истории и практики, — в его зрелом творчестве появляются новые темы, не связанные напрямую с эстетикой: вопросы социальных реформ, улучшения народного образования и условий труда, противостояния массовой индустриализации производства и т. д.

В 1860—1870-е гг. Рёскин пишет меньше новых работ, посвященных непосредственно живописи, однако кумиры его юности и вопросы искусствознания не исчезли окончательно из сферы его интересов, просто делили ее теперь с другими научными проблемами. В 1784 году критик возвращается к своему magnum opus — «Современным художникам», поддавшись уговорам одной знакомой дамы сделать из пятитомника выборку эссе и тезисов, более доступных для понимания неискушенными читателями, чем оригинальное издание, успевшее за эти годы «обрасти» дополнениями и пояснениями. Результатом этого пересмотра стал небольшой по объему сборник фрагментов под названием «Сельские листья», дополненный авторскими комментариями*.

* В оригинальном издании на титульном листе заглавие сопровождалось подзаголовком, пояснением к нему и эпиграфом. Подзаголовок информировал читателя, что перед ним «Чтение из „Современных художников", отобранное по усмотрению подруги автора, младшей леди из Туайта, Конистон». Эпиграф на латинском («Spargit agrestis tibi silva fronds» — в русском переводе «Сыплет в честь твою листья лес дубовый», перевод Г.Ф. Церетели) был взят из оды Горация.

«Младшей леди из Туайта», вдохновившей Рёскина на эту работу и принявшей в ней активное участие, была Сюзанна Бивер, близкая приятельница уже немолодого Рёскина, с которой он познакомился в 1878 году.

Когда писатель приобрел усадьбу Брентвуд в Озерном краю, его соседками оказались две достойные во всех отношениях пожилые дамы, сестры Бивер, старшая — Мэри (1802—1883) и младшая — Сюзанна (1805—1893). Они были здешними старожилами (отец перевез их в усадьбу Туайт берегу озера Конистон еще в начале 1820-х годов) и составляли цвет местной интеллектуальной элиты. Рано оставшись без родителей, четыре сестры и брат создали маленькое утопическое сообщество, найдя свое призвание в естествознании, ботанике и любительских занятиях искусством. Мэри прекрасно рисовала, Сюзанна отдавала предпочтение литературе*, их брат

* Она также занималась благотворительностью и пыталась улучшить ситуацию с образованием детей-сирот и вместе с сестрой писала статьи в журнал для рабочих.

Джон написал книгу о рыбной ловле; при этом все Биверы были страстными садоводами. Их считали чудаковатыми, но приятными людьми; не считая одного из братьев, уехавшего в Манчестер, никто из Биверов так и не покинул родной дом и не вступил в брак.

На тот момент, когда Рёскин поселился в Брентвуде, от большой (и эксцентричной, в лучших английских традициях) семьи остались только две сестры, уже достигшие весьма преклонного возраста. Это не помешало им искренне наслаждаться общением с Рёскиным и радостями поздней дружбы. Их объединила любовь к природе, искусству и литературе. Одинокий писатель, незадолго до знакомства с Мэри и Сюзанной переживший личную трагедию*,

* В 1858 году Рёскина пригласили преподавать рисунок девочкам из состоятельной ирландской семьи де ла Туш. Одна из его учениц, десятилетняя Роза, привлекла внимание Рёскина несвойственной детям серьезностью и глубиной суждений, а со временем пленила его сердце своей необыкновенной, почти мистической красотой. Дождавшись ее восемнадцатилетия, Рёскин сделал мадемуазель де ла Туш предложение, но родители девушки, набожные протестанты, не желали видеть в ка-

искренне привязался к сестрам Бивер, обретя в их компании недоставшую ему человеческую теплоту. За годы общения Рёскин написал им около девятисот писем — даже в дальних поездках он не забывал своих приятельниц и сочинял для них послания, полные колоритных путевых подробностей и шутливых жалоб на разлуку. Неудивительно, что он не видел причины отказать Сюзанне в ее маленькой просьбе — позволить ей отобрать наиболее интересные фрагменты его главного труда и выпустить его в виде небольшой хрестоматии (как она уже сделала когда-то с произведениями Шекспира).

Дружба с Мэри и Сюзанной, прервавшаяся только со смертью пожилых леди, была омраче-

---

честве зятя немолодого разведенного писателя, чьи неортодоксальные религиозные убеждения не вызывали у них одобрения. Рёскин еще раз посватался к юной ирландке, достигшей совершеннолетия, но получил отказ уже от самой девушки. Через несколько лет Роза оказалась в психиатрической лечебнице, где и умерла в возрасте двадцати семи лет. Неудачное сватовство и безвременная смерть возлюбленной подорвали душевное здоровье Рёскина, и он стал страдать от необъяснимых припадков и галлюцинаций, ставших вестниками тяжелой и, неизлечимой болезни писателя.

на для Рёскина грозными симптомами неотвратимой болезни, и все же он воспринимал этот период своей жизни как пребывание в оазисе покоя и гармонии, погружение в состояние блаженной невинности и умиротворения*. Брентвуд и весь Озерный край стали для Рёскина подобием Эдема, в который он возвращался восстанавливать душевное равновесие после очередных бурь и утрат**. Возможно, па-

* По прихоти судьбы Рёскин впервые оказался в Конистоне еще в детстве, во время одной из поездок с родителями, и был очарован живописной холмистой местностью и бескрайней озерной гладью.

** В 1877—1878 гг. Рёскин участвовал в тяжбе с англо-американским художником Уистлером, обвинившем пожилого писателя в клевете и выигравшем дело. Рёскин тяжело переживал этот проигрыш, воспринимая его как свидетельство упадка тех эстетических идей, которые он отстаивал на протяжении всей жизни. Его преподавательская деятельность в Оксфорде не удалась: студенты толпились на его лекциях даже в коридорах и под окнами, однако администрация университета не одобряла его смелых социально-политических воззрений, и Рёскин несколько раз уходил в отставку и возвращался. Поздние работы Рёскина по политической экономике и социологии не всегда находили понимание и отклик у читателей. Это было время потерь и подведения не всегда утешительных для Рёскина итогов.

сторально-идиллическое настроение, которое царило в усадьбе Туайт с ее большим, но ухоженным садом, подсказало ему название и эпиграф для сборника, подготовленного леди Сюзанной. Фраза «frondes agrestis» («сельская листва») взята из 18-й оды Горация (Книга III), воспевающей неизменный годовой круговорот природных явлений и сельскохозяйственных работ и праздников. Утопическая картина изобилия, плодородия, мирного созидательного труда создает настроение умиротворения и покоя, так мало знакомое самому Рёскину, но желанное после стольких невзгод. Безмятежная картина сельского праздника и приготовления природы к зиме, шутливый и в то же время приподнятый тон оды, передавшийся через заглавие и эпиграф рёскинскому тексту, образ листа, с юных лет занимавший воображение Рёскина как художника*, — все

* В 1840-х гг. юный Рёскин во время уроков рисования обратил внимания на лист плюща, поразивший его красотой и сложностью природных очертаний. Пережитое эстетическое открытие первозданной красоты в природе легло в основу его дальнейших идейно-эстетических поисков.

это сообщает трактату настроение ностальгической грусти и смиренного принятия неотвратимой осени жизни.

После «Сельских листьев», с восторгом принятых поклонниками творчества Рёскина, писателя ждало еще несколько значимых работ*, которые создавалась в непрерывной борьбе с болезнью и подступающим безумием. Однако именно «Сельские листья» сыграли роль той вершины его зрелого творчества, с высоты которой он мог ностальгически обозревать свою долгую и плодотворную жизнь, наполненную борьбой, созиданием и неустанными трудами. «Frondes Agrestis» — это золотая осень Рёскина, время подведения итогов и сбора плодов, по завершении которого писателя ждала безрадостная и мрачная зима.

О. В. Разумовская

---

* Например, «Законы Фьезоле» (1877—1878), «Художественный вымысел, Прекрасное и Безобразное» (1880).

Джон Рёскин

СЕЛЬСКИЕ ЛИСТЬЯ

Предисловие

Меня часто просили перепечатать в более легкой и доступной форме, чем в существующих до сих пор изданиях, первую мою книгу, обратившую на себя внимание публики и до сих пор пользующуюся ее особенным расположением. Но я решил никогда не издавать ее целиком, потому что некоторые ее части, благодаря установившейся славе Тернера, сделались ненужными, другие же были всегда бесполезны своим восхвалением того величия, которое публика никогда не старается оценить должным образом.

Но, увидав, что один из моих лучших друзей, сохранивший и в зрелом возрасте живость и восприимчивость светлой юности, сделал для своего удовольствия много выписок из «Современных живописцев», я нашел, что признаваемое полезным для себя подоб-

ной личностью пригодно также и для тех читателей, которым я хотел бы доставить удовольствие и которые имели обыкновение в ранних моих произведениях восхищаться иногда тем, на что я сам никогда не обратил бы их внимания. Вследствие этого я просил моего друга прибавить к выбранным ею отрывкам и другие, которые, по ее мнению, могут иметь не мимолетный интерес для читателей. Выписки эти я издал, вполне подчиняясь ее мнению, и только привел их в порядок, более соответствующий взаимной их связи, прибавив там и сям объяснительные, а может быть, и смягчающие заметки в тех случаях, когда я уже не разделял прежнего моего мнения. Тот факт, что она сделала мне одолжение и записала собственноручно все мои слова, только увеличивает в моих глазах и, надеюсь, в глазах читателей симпатичность этой маленькой книжки; и хотя я намереваюсь издать некоторые научные и технические отделы первоначальных томов в моем обширном издании, однако прилагаемые выписки, сделанные моим другом среди невозмутимой тишины Кони-

стонских лесов — этого английского Унтервальдена, — несомненно, окажут своею общедоступностью такую услугу многим читателям, какую только может оказать книга вообще в деле уяснения сил природы, являясь вместе с тем и заступницей за ее — слишком часто теперь пренебрегаемый и нарушаемый — мир.

ОТДЕЛ I

Принципы искусства

1. Совершенство вкуса есть способность получать возможно большее наслаждение от материальных источников, привлекательных для нашей нравственной природы по их чистоте и совершенству; но на вопрос, почему одни формы и цвета доставляют нам удовольствие, а другие нет, так же трудно ответить, как и на вопрос, почему мы любим сахар и не любим древесных червей.

2. Терпение есть характерная черта, вырабатывающая хороший вкус. Оно пристально всматривается во все, с чем встречается. Оно ничего не топчет ногами, из опасения затоптать жемчужину, даже если предмет имеет вид скорлупы. Терпение — хорошая почва, прони-

цаемая и задерживающая. Она не порождает шипов — дурных мыслей, заглушающих слабое зерно; она сильно алчет, жаждет и поглощает всю росу, падающую на нее. Это честное и доброе сердце; оно не торопится забиться, прежде чем солнце не взойдет, но и не ослабевает потом; оно не настолько доверяет себе, чтобы всему верить или все исследовать; и, однако же, оно так уверено в себе, что не хочет ни бросать того, что исследовало, ни принимать чего-либо на слово. Радость же его, когда оно находит что-нибудь истинное и хорошее, так велика, что не может быть заглушена ни уловками моды, ни тревогами тщеславия; оно не терпит стеснений в своих заключениях ни от пристрастия, ни от лицемерия. Оно так сильно охватывает каждый любимый предмет, что сдавливает его, как пустой.

3. Люди единодушно согласны, что все отрасли знания, имеющие своим предметом доставление материальных удобств и относящиеся до материальных нужд, неблагородны, имеющие же своей задачей нашу духовную

сторону — благородны; что для геологии достойнее облекать в плоть сухие кости и восстановлять отжившие существа, чем заниматься открытиями жил свинца и залежей железа; что астрономии лучше открывать нам небесные обители, чем обучать нас мореплаванию; что ботанике лучше изучать структуру растений, чем заниматься выдавливанием соков; что хирургии важнее изучать организацию, чем ампутацию членов. Только для нашего поощрения каждый шаг, сделанный нами в более возвышенных сферах знания, ведет к известной практической выгоде, и все великие явления природы, знания которых вполне желают ангелы и, отчасти, желаем мы, только яснее раскрывают нам бытие и славу Того, в Ком они блаженствуют, а мы живем, и вместе с тем расточают такое благотворное влияние и такое обилие материальных благ, что наполняют чувством отрады даже все низшие существа, поскольку это чувство доступно несовершенству их природы; могучие потоки, в своем веселии наполняя холмы глухим шумом, а долины — светлыми извилинами, должны также

питать поля и носить на своих волнах корабли; яростное пламя, заставившее Альпы подняться на такую высоту и наполняющее вулканы ужасом, образует жилы металлов и пригревает животворную весну; и для нашего поощрения — я не говорю в «награду нам», потому что в самом знании заключается уже награда, — травы обладают целительными, камни драгоценными качествами, а звезды служат указателем времени.

4. Если бы Всемогущим* предназначено было, чтобы все высшие наслаждения зрения были и наиболее труднодостижимыми — так чтобы для получения их было бы необходимо заводить позолоченные дворцы, воздвигать башни на башнях, устраивать искусственные горы вокруг запущенных озер, — то, может быть, и существовало бы прямое противоре-

* Читатель должен иметь в виду, что я, воспитанный в евангелических школах, предполагал в двадцать четыре года, что вполне знаком с велениями Творца. Тем не менее практическая сущность этого отрывка хороша, если только она доступна пониманию, в чем я сильно сомневаюсь.

чие между бескорыстными обязанностями и врожденными стремлениями каждой личности. Но такого противоречия не существует в системе Божественного провидения. Оно предоставляет нам как существам подверженным испытанию злоупотреблять этим чувством, как и всяким другим, и извращать его эгоистическим и бессмысленным тщеславием, подобно тому, как мы извращаем вкус вредной едой, пока аппетит ко всему вкусному не пресыщается до такой степени, что мы, подобно Калигуле, не способны находить удовольствия ни в чем, если минутные наши наслаждения не покупаются ценою труда миллиона жизней. Но Провидение предоставляет нам путями скромными, путями любви, стать восприимчивыми к глубокому восторгу, не разъединяющему нас с нашими собратьями, не заставляющему нас жертвовать нашими обязанностями или делами, но теснее соединяющему нас с людьми и Богом и гармонирующему с каждым честным делом и с каждым неизменным и вечным стремлением.

5. Великий идеалист никогда не может быть эгоистом. Сила его всецело зависит от того, что он совсем не обращает внимания на себя и не интересуется собой, а становится простым зеркалом истины, отражая свои видения. Он всегда прост с виду, не способен всего выразить и постоянно сетует на то, что не может вполне отразить и ясно выразить всего, что видит. Такое душевное состояние исключает всякую возможность гордости. Человек, лишенный изобретательности, всегда старается все переделать*, перестроить весь мир, чванясь, рисуясь, гордясь своими делами и считая, что выше их ничего быть не может.

6. Поскольку воспитание действительно стремится развить тонкость чувств, верность понимания и сделать людей способными предпочитать скромный цвет пестроте, неж-

* Я сам могу служить теперь комичной иллюстрацией высказанной здесь мысли. В моем мозгу нет ни капли изобретательности, но я крайне рационален и методичен и смело взялся бы перестроить весь мир.

ную форму грубой и, вследствие продолжительного знакомства с лучшими образцами, сразу отличать изящное от вульгарного, постольку приобретение вкуса есть благородная способность и выражение «хороший вкус» является действительной похвалой. Но чувства, порождаемые так называемым либеральным образованием, безусловно, противны пониманию благородного искусства. Это высшее образование так стремится сузить симпатии, придать черствость сердцу, уменьшить интерес к прекрасному как к привычному, что все лучшее и самое светлое едва может нравиться и интересовать; оно поощряет тщеславие и ведет к тому, что люди начинают ценить вещи не по их достоинству, а по степени их пригодности для проявления величия их владельцев (так люди, например, строят мраморные портики и делают мраморные полы не потому, что им нравится цвет мрамора или они находят его удобным для ходьбы, а потому, что портики эти и полы дорого стоят и больше бросаются в глаза, чем простые каменные или деревянные входы); оно застав-

ляет людей предпочитать изящество одежды, манер и общего вида внутреннему достоинству и сердечности, считая ловкое выражение выше правды, хорошо заученные манеры лучше искренних, нежное личико лучше выразительного и, всюду и всегда, ставя обычай и подражание выше вечных истин; наконец, оно развивает как бы наследственное чувство розни между классами и большее или меньшее пренебрежение ко всем, не имеющим общественного положения, так что любовь, радость и горе простолюдина не вызывают никакого интереса сравнительно с любовью и горем человека высокопоставленного. И поскольку, повторяю, все эти чувства развиваются так называемым либеральным воспитанием, последнее положительно вредит пониманию благородного искусства.

7. У человека, приучившегося в повседневной жизни находить серьезные стороны во всем, что он видит и слышит, сила воображения будет невольно и впоследствии вызывает в уме те же факты в их благороднейших соче-

таниях; а кто занимается пустяками и ложью, у того и в мечтах будут рисоваться впоследствии ложь и пустяки*.

8. Все исторические события Библии ждут еще художников, которые могли бы их изобразить. Ни Моисей, ни Илья, ни Давид (исключая одного рисунка, где он изображен румяным юношей), ни Дебора, ни Исаия никогда не были изображены**. Может ли читатель припомнить хотя бы один пример в живописи, где был бы даже слабый намек на дела этих людей? Он может припомнить сильных людей в доспехах или пожилых, с развева-

---

* Прекрасно. Немногие имеют понятие о том, насколько направление ума важнее силы его упражнения. Почти все стегают своих коней, никогда не обращая внимания на то, куда они их гонят.

** В то время, когда я писал эти строки, я ничего не знал о Луини, Филиппо Липпи и Сандро Боттичелли; я не способен был понять глубину чувств даже тех людей, которых я главным образом изучал, а именно Тинторетто и Фра Анджелико. Но британская публика не больше знакома с великими флорентинцами, чем был я в то время, так что все сказанное остается верным для нее.

ющимися бородами, которые, по справке в Луврском каталоге, изображают Давида или Моисея. Но если бы эти картины вызывали в нем хотя слабое представление об этих людях, то мог ли бы он без чувства горечи и удивления перейти к следующим картинам, несомненно изображающим Диану и Актея, Купидона и Граций или «Ссору из-за карт в питейном доме»? Вдумавшись в это, он придет к заключению, что слова мои справедливы и что религиозного искусства, полного и в то же время искреннего, до сих пор еще не существовало.

ОТДЕЛ II

Сила и назначение воображения

9. В чем истинное назначение воображения, т. е. силы, открывающей и постигающей умом то, чего мы не можем постичь чувствами? Первое и благороднейшее* его назначение — сделать доступными нашему взору вещи, о которых повествуют как об относящихся к будущему нашему состоянию или невидимо окружающих нас в этом мире. Оно дано нам, чтобы мы могли вообразить великое множество свидетелей на небе, на земле и на море — все эти души праведников, ожидающих

* Я был бы рад, если бы читатель, интересующийся поднятым здесь вопросом, для уяснения последующего положения прочел отчет о «Рае» Тинторетто, в связи с моей оксфордской лекцией о Микеланджело и Тинторетто, которую я издал отдельно, чтобы сделать ее общедоступной.

нас; чтобы мы могли постичь существование великого воинства небесных сил и узнать среди них тех, с которыми нам хотелось бы жить вечно; чтобы мы имели возможность ясно видеть служение ангелов-хранителей и огненную колесницу на окружающих нас горах и, помимо всего этого, чтобы могли вызывать сцены и факты, в которые нам заповедано верить, и представить себе как бы воочию все записанные события земной жизни Спасителя. Второе, более обычное назначение воображения состоит в том, чтобы дать нам возможность присутствовать при исторических событиях, придавая фактам прежнюю ясность, так, чтобы они производили на нас такое же впечатление, какое мы получили бы, являясь их свидетелями; в низших же жизненных явлениях — одаряя нас способностью извлекать из наличного блага возможно большую долю радости, окружая это благо счастливыми сочетаниями. Далее, воображение дает нам возможность смягчать наличное зло, вызывая образы минувших дней; оно призвано также облекать умственные истины

в видимые образы посредством аллегорий, сравнений или олицетворений, чтобы тем придавать им более глубокое значение; и, наконец, когда ум окончательно изнемогает, оно должно освежить его невинными отрадами, наиболее гармонирующими с внушительным голосом природы, допуская возможность живого товарищества, вместо безмолвной красоты, и создавая себе фей и наяд в траве и воде.

10. Уважая, таким образом, силу и искусство воображения, никто из нас не должен, однако, презирать силу и искусство памяти.

Пусть читатель серьезно подумает, чего бы он не дал в любой момент жизни, чтобы иметь способность удерживать прекрасные явления, которые так часто возникают перед ним только для того, чтобы мгновенно исчезнуть; чего бы он только не дал, чтобы остановить переходящее облако, дрожащий лист, тень в момент ее перелива, колеблющуюся пену на реке, чтобы увековечить рябь на озере, унося с собой впечатление не мрака или слабого сол-

нечного освещения (хотя и это прекрасно), а призрак, но который должен казаться не призраком, а образом истинной и совершенной жизни. Или, вернее, (потому что полное значение этой способности недостаточно этим очерчено) пусть читатель обратит внимание на то, что в действительности это есть способность переноситься в любую минуту на всякое место действия — великий дар, каким могут обладать только бестелесные духи; пусть он не забывает также, что эта волшебная сила охватывает не только настоящее, но и прошлое и придает нам способность как бы присутствовать в кругу людей, давно обратившихся в прах, видеть их при жизни, только с преимуществом, гораздо более существенным, чем какое даровано было товарищам этих преходящих деятелей, а именно: видеть, как любой их жест и выражение словно замирают по нашей воле и остаются — в момент совершения любого великого дела — в бессмертной неподвижности их жгучего решения. Вообразите, насколько возможно, подобную силу, и тогда скажите, можно ли

легкомысленно отзываться об искусстве, которое нам в этом помогает и не следует ли, напротив, относиться к нему с благоговением, как к полубожественному дару, который поднимает нас до высоты ангелов и дарует нам их блаженство*.

11. Я убежден, что истинное мерило великого человека есть его смирение. Но под словом «смирение» я разумею не сомнение в своих силах и не робость в выражении своего мнения, а верное понимание отношения между тем, что может сделать или сказать такой человек и делами и словами остального мира. Все великие люди не только знают свое дело, но и сознают обыкновенно, что знают его; они не только правы в своих главных взглядах, но и сознают обыкновенно свою правоту; только в силу этого они невысокого мнения о себе. Арнольфо знал, что он может построить прекрасный собор во Флоренции;

* Это написано в опровержение общего мнения, что «простое подражание» природе легко и бесполезно.

Альберт Дюрер спокойно писал одному лицу, находившему ошибки в его работе: «Это не может быть сделано лучше»; Исаак Ньютон знал, что он разрешил одну или две задачи, которые поставили бы в тупик всякого другого, но только они не претендовали, чтобы их собратья или люди вообще падали бы за это перед ними ниц и поклонялись им. Они обладают замечательным чувством беспомощности, которое подсказывает им, что величие не *в них*, а *чрез* них, что и дела их, и сами они таковы только потому, что такими создал их Бог; они видят нечто божественное, видят творение Божие во всяком человеке, встречающемся с ними, и преисполнены бесконечной, безумной, невероятной снисходительностью.

12. Судя по моим наблюдениям, существует неизменный закон, по которому самые великие люди, будь то поэты или историки, живут всецело в своей эпохе и из нее заимствуют величайшие плоды своих трудов. Данте рисует Италию тринадцатого столетия;

Чаусер — Англию четырнадцатого; Макачио — Флоренцию пятнадцатого; Тинторетто — Венецию шестнадцатого. Все они, несмотря на анахронизмы и незначительные ошибки, извлекали всегда живую истину из живого настоящего. Если нам возразят, что Шекспир писал превосходные исторические трагедии на сюжеты, заимствованные из предыдущего столетия, то я отвечу, что трагедии его превосходны именно потому, что в них обращено внимание не на столетия, а на жизнь, которую все люди признают человеческой жизнью всех времен, и это не потому, что Шекспир думал дать людям мировую истину, а потому, что изображая честно и правдиво окружающих людей, он изображал человеческую натуру, которая настолько устойчива, что негодяи девятнадцатого столетия, в сущности, такие же, какими были в пятнадцатом и будут в двадцатом столетии; человек рыцарски честный похож на такого же человека любой эпохи. Дело этих великих идеалистов всегда мировое не потому, что они будто бы не дают точных изображений, а потому, что они

именно дают точное изображение всей сущности души, одинаковой во все времена; дело же заурядных идеалистов не потому не мировое, что они дают портреты, а потому, что дают полупортреты, изображая внешнюю сторону человека, его манеры и одежду, а не душу. Таким образом, Тинторетто и Шекспир, оба изображают просто сущность души современных им венецианцев и англичан, душу своих современников, и делают это для всех веков; относительно же каких-либо усилий в их исторических работах уклониться в частности, изобразить оттенки мысли и обычаи прошлого, то вы не найдете ничего подобного ни у них, ни у других известных мне вполне великих людей*.

* Какие специально египетские черты характера встретите вы, например, в Клеопатре, афинские в Тезее или Тимоне, древнеанглийские в Имогене или Корделии, древнешотландские в Макбете, или даже средневековые итальянские в Петруччио, Венецианском купце или Дездемоне? Римские трагедии потому только и являются определенно римскими, что сила Рима была вечной силой мира — силой чистой семейной жизни, поддерживаемой земледелием и охраняемой простым бесстрашным мужеством.

13. Весьма вероятно, что многие читатели удивятся моему мнению о Скотте как о великом умственном представителе литературы своего времени. Кто способен постичь проницательную глубину Вордсворта и изящно законченное, мелодичное дарование Теннисона, тот может оскорбиться тем, что я ставлю выше незаботящуюся об отделке и равнодушную к рифме поэзию, в которой Скотт изливал фантазии своей юности; а люди, знакомые с тонким анализом французских новеллистов и так или иначе подчинившиеся влиянию немецкой философии, также могут негодовать на то, что я отдаю преимущество Скотту перед литературными силами Европы в век, гордящийся Бальзаком и Гёте*.

* Я ничего не знал о Гёте, когда ставил его наряду с Бальзаком; но невыносимое тупоумие, наполняющее глубину «Вильгельма Мейстера», и жестокая сдержанность, скрывающая от всех, даже от самых вдумчивых, читателей смысл Фауста, был в значительной степени причиной того, что произведения эти имели дурное влияние на европейскую литературу; ну, а зло стоит всегда тут, за кулисами.

Но масса сентиментальной литературы, занятой анализом и описанием ощущений, с поэзией Байрона во главе, всегда стоит на гораздо низшей ступени, чем литература, просто описывающая виденное.

Истинный ясновидец чувствует так же сильно, как и всякий другой, но он не особенно много описывает свои чувства. Он рассказывает, кого он встречал и что говорили эти люди, предоставляя на основании рассказанного вам самим заключать о том, что они чувствовали, что он чувствовал, и вдаваться в мелкие подробности. Вообще говоря, патетическое описание и старательное объяснение страсти нетрудно сравнительно с полным отчетом о том, что люди говорят и делают или с искусным вымыслом, правдиво изображающим слова и дела людей. Для того чтобы сочинить рассказ или вполне превосходно передать любую часть его, нужно охватить весь внутренний мир каждого действующего в нем лица и знать, какое влияние оказывают на него обстоятельства жизни. Для этого требуются громадные умственные способности; для того

же, чтобы тонко описать отдельное ощущение, нужно только самому прочувствовать его. Тысячи людей способны испытать то или другое благородное чувство, и только один из тысячи способен до тонкости понять все чувства господина, сидящего на другом конце стола. Поэтому даже и первоклассная сентиментальная литература, как, например, произведения Байрона, Теннисона и Китса, не может быть поставлена на одинаковую высоту с творческой; и хотя совершенство и на узком поприще может быть так же редко, как и на широком, и, вероятно, пройдет немало времени, прежде чем у нас будет другое «In Memoriam», также как и другой «Гей Мэннеринг», однако я, не колеблясь, признаю неизмеримо большее проявление таланта в нескольких изречениях Плейделя и Мэннеринга за ужином, чем в наиболее нежных и страстных мелодиях самосозерцающего стихотворца.

14. Фантазия резвится, как белка в своей кругообразной тюрьме, и счастлива, но воображение — странник на земле, и жилище его

на небе. Лишите его простора небесных гор, отнимите от него возможность дышать их мягким воздухом, согретым солнцем, и это будет все равно что направить против него последнюю стрелу Башни Голода и дать ключ для охраны свирепой волны, омывающей Капрею и Горгону*.

15. В высшей поэзии нет такого даже самого обыкновенного слова, из которого великий человек не мог бы извлечь пользы или, вернее, которое не доставило бы ему пользы и не отвечало бы известной цели лучше всякого другого. Обыкновенный человек затруднился бы, например, назвать кого-нибудь щенком с целью высказать ему что-нибудь лестное. Есть известная свежесть и сила в этом выражении, придающие ему прелесть, но как-то неловко вначале услыхать его в виде привета. Если же

* Я оставляю это место, так как оно выбрано моим другом, но оно непонятно без связи с целым, из которого видно, насколько все ощущения, описанные в предыдущем параграфе этого отдела, основаны на доверии к благости и к закону Всемогущего Духа.

с этим словом обращаются к принцу, то неловкость, по-видимому, увеличивается еще более; далее, если этого принца предстоит в одно и то же время назвать щенком и признать героем, то затруднительное положение простого идеалиста может достигнуть крайней степени. Но послушайте, что говорит Шекспир:

«Пробуди его воинственный дух и дух твоего великого дяди, Эдварда, мрачного принца, разыгрывавшего на полях Франции грозную трагедию, разбивая всю мощную силу французов; тогда как его отец, стоя на холме, улыбался, любуясь, как его львиный щенок упивался кровью французского дворянства».

16. Хотя в любой восхитительной картине природы есть значительная доля простой красоты, действующей исключительно на наше зрение, однако наибольшее впечатление часто производит на нас самая ничтожная частица этой видимой красоты. Красота эта может состоять, например, в прекрасных цветах, сверкающих ручейках, синеве неба или в белых об-

лаках; и, однако, предметом, производящим на нас наибольшее впечатление и который нам было бы так грустно утратить, может служить ничтожное тонкое серое облачко на краю горизонта, которое по величине пространства, занимаемого им на сцене, не больше клочка паутины на ближайшем кустарнике и нисколько не красивее ее; но так как известно, что паутина есть маленькая частица изделия паука, а та серая полоска обозначает гору в десять тысяч футов вышины, населенную благородным племенем горцев, то вид последней и производит на нас такое величественное впечатление, хотя мысли и знания, содействующие этому впечатлению, так неясны, что мы даже не сознаем их.

17. Рассмотрите сущность ваших собственных ощущений (если они у вас есть) при виде Альп, и вы найдете, что вся живость этого ощущения, как росинка на паутине, покоится на изящной ткани тонкой фантазии и несовершенного знания. Сначала у вас является смутное представление о их величине и вме-

сте с тем удивление работе великого Строителя их стен и основания; затем у вас возникает мысль о их вечности, патетическое чувство об их постоянстве, тогда как ваша жизнь так кратковременна, как и жизнь былинок, растущих на ее откосах; затем грустное чувство странного сотоварищества с исчезнувшими поколениями, видевшими то же, что и вы. Они не видали, правда, ни облаков, плывущих над вашими головами, ни стен хижины по ту сторону поля, ни дороги, по которой вы пришли, но эти Альпы они видели. Гранитная стена, теряющаяся в облаках, была такой же и для них, как и для вас. Они уже не любуются ею; скоро перестанете и вы любоваться, но гранитная стена будет по-прежнему красоваться для других. Потом в связи с этими, более величественными представлениями мысль сосредоточивается на дарах и славе Альп — на фантастическом стремлении всех потоков, изливающихся с их каменных стен, на больших реках, берущих начало в их льдах, на веселых долинах, извивающихся среди их ложбин, на шале, сверкающих среди их облаков, на счаст-

ливых фермах, раскинувшихся среди их пастбищ; и рядом с этими мыслями возникает удивительная симпатия ко всему неизвестному человеческой жизни, и к счастью, и к смерти, симпатия, пробуждаемая видом этой узенькой, белой, блестящей полоски вечного снега, рисующейся вдали на утреннем небе. Эти образы и многие другие кроются в основе того ощущения, которое вы испытываете при виде Альп. Вы не можете запечатлеть их в вашем сердце, как и многое другое, хорошее и дурное, но они, однако, волнуют и оживляют вас. Бесспорно, что вы чувствуете сильнее при виде снежных вершин, чем при виде другого какого-нибудь серебристо-серого предмета, только в силу зависимости от того рода образов, которые при этом пробуждаются в вас, а это, заметьте, только большее восприятие фактической стороны предмета. Мы называем эту силу «Воображением», потому, что она рисует или постигает; но благородной силой мы можем назвать ее только в том случае, когда она представляет себе или постигает истину, и соответственно степени обладаемого

знания и чувствительности по отношению к патетическому или трогательному характеру познаваемых фактов будет и степень этого воображаемого наслаждения.

18. Человеческому сердцу так естественно сосредоточиваться больше на надежде, чем на наличном обладании, а очарование, которое воображение придает предметам, противоречащим действительности, так тонко, что часто в явлениях, рисующихся вдали, заключается больше прелести, чем они имеют в действительности, и больше притягательной силы, чем в явлениях, расточающих сокровища и силы природы в несокрушимом чудном великолепии и ничего не оставляющих для работы фантазии. Я не знаю области в мире, которая была бы более пригодна для иллюстрации этой чарующей силы воображения, чем местность, окружающая город Фрибург в Швейцарии и расстилающаяся от него вплоть до Берна. Эта песчаная возвышенность не представляет никакого живого интереса для путешественника, так что при беглом взгляде на

нее, во время быстрого переезда от бернских Альп до Савойи, в большинстве случаев чувствуется только утомление, тем более неприятное, что оно сопровождается реакцией после сильного возбуждения, вызванного блеском и роскошью бернского Оберланда. Путешественник, с разбитыми ногами, лихорадочным ознобом, пресыщенный видом глетчеров и пропастей, забивается в угол дилижанса и разве замечает только одно, что дорога извилиста и холмиста, а страна, по которой они проезжают, возделана и уныла. Но пусть он, чтобы воздать долг справедливости этой унылой стране, пробудет в ней несколько дней, пока дух его окрепнет, пусть сделает одно или два основательных путешествия по ее полям, и мнение его о ней изменится. Эта, как я сказал, волнистая область серого песку, нигде не достигает значительной высоты, но достаточно гористая, чтобы постепенно образовывать резкие смены откосов и долин, а возвышается она над уровнем моря ровно настолько, чтобы дать возможность сосне произрастать в изобилии по ее причудливым

кряжам. Чрез эту возвышенную местность река прокладывает себе путь к оврагу в пятьсот или шестьсот футов глубины и извивается на протяжении трех миль среди прелестных холмов, не задерживаясь, пока не достигнет конца; и тогда внезапно сквозь ветви сосен глаз замечает внизу зеленый скользящий поток и широкие стены песчаного холма, составляющие его берега; там же, где река при своем повороте примыкает к нему, образуется опасный выступ; на противоположном берегу, в том же месте, между утесом и водой остается небольшая полоска луга, наполовину поросшая густым кустарником, пустынная в своей красоте, недоступная взгляду, бросаемому сверху, и изредка посещаемая любопытными путешественниками, которым приходится пробираться по едва заметной тропинке, отстаивающей внизу скал свое существование. Река тут струится, волнуется и журчит в полном уединении. Она протекает по густо населенной стране, но никогда еще ни один поток не был так одинок. Самые ничтожные и самые отдаленные источники, протекающие среди высо-

ких холмов, имеют сотоварищей: возле них пасутся козы, путники пьют из них воду и переходят через них вброд, опираясь на свой посох, а крестьяне проводят от них каналы к своим мельничным колесам. Но этот поток не имеет товарищей — он течет в полном уединении, не тайно и грозно, а открыто, под мягкими лучами солнца, на широком просторе спокойного, глубокого безлюдья, томясь в отчуждении от труда и жизни людей; его волны смиренно плещутся и некому слушать их; дикие птицы вьют среди ветвей свои гнезда, и никто не спугивает их; мягкая душистая трава появляется, растет и увядает здесь, и некому ее рвать; и все это среди блеска, при свободном доступе солнечных лучей и чистого дождя. Но за вершинами этих круглых утесов все сразу изменяется. Стоит только сделать несколько шагов по ту сторону сосен, распростерших в воздухе свои изогнутые сильные ветви, подобно извилинам молнии, и мы очутимся в роскошной стране, пригодной для культуры. Ряды ее зерновых хлебов блестят и желтеют на полях; красивые поселки ожив-

лены плодоносными фруктовыми садами, цветниками, амбарами и гумнами с покатыми крышами; хорошо поддерживаемые дороги, твердые, напоминающие дорожки парков, поднимаются и опускаются со ската на скат, то исчезая во мгле и в кустарниках дикой малины и шиповника, то просвечивая сквозь ряды высоких деревьев, представляющих из себя полупросеки, полуаллеи, или прямо пролегая, или беспрепятственно поворачивая в сторону, в сад какого-нибудь господского дома, полного деревенского великолепия, с блестящими ульями, резными амбарами и живописно разбросанными дачами, обнесенными решетками и шпалерником. Эти домики веселят взор своей нежной и в то же время отчасти грубой простотой. Они не похожи на наши английские постройки — тщательно отделанные, до щепетильности чинные и безукоризненно комфортабельные, — нет, в них сказываются особая небрежность и широта во всех частностях, гармонирующие с вполне своеобразной привлекательностью этой страны, отличающейся неукротимой силой даже в та-

кой, вполне спокойной и обитаемой местности. На ней действительно золотятся зерновые хлеба и благоухает густая трава, но они не поддаются косе и не являются плодом культуры. Нет, почва здесь дает все по своему произволу; у ней, по-видимому, ничто не вырвано насильно, ничто не добыто путем победы. Ничто не изменяет ее пустынности и не сдерживает ее плодородия — благодатная страна, блистающая причудливым изобилием и ликующая, благодаря благотворному и дикому плодородию своих долин. Но в самом сердце ее мы находим примесь суровости: на всех ее кряжах возвышаются темные массы бесчисленного множества сосен, не принимающих участия в ее веселии*. Они укоренялись здесь навсегда, как представители постоянного мрака, сквозь который не в силах пробиться и которого не может рассеять даже самый яркий

* Почти единственное удовольствие, полученное мною лично от перечитывания моих старых сочинений, состоит в том, что я, во всяком случае, отдал в них дань справедливости сосне (сравни 47-й отрывок этой же книги).

солнечный день. Падающие клочья и частицы ночи задерживаются в их величественных рядах, среди розоватых изгибов ветвей плодовых садов и золотистого блеска жнивья, и обрисовываются черной неподвижной бахромой на лазури горизонта с его священной чистотой.

А между тем сосны не портят пейзажа и как будто находятся здесь, главным образом, для того, чтобы ярче обрисовать блеск всего, их окружающего. Все облака принимают серебристый цвет, и весь воздух как будто наполняется более светлым и оживленным солнечным сиянием в тех местах, где их пронизывают острые иглы сосен; зелень пастбищ становится ярче там, где она пролегает между пурпуровыми стволами; и благовонные полевые тропинки, ради тени протоптанные по окраине леса, извиваются, то поднимаясь, то опускаясь около гладких корней, по временам совсем исчезая между фиалками и плющиком, под тенью иглистой листвы, наконец, погружаются как бы в открытый придел, где просвет сквозь отдаленные стволы показывает, что им есть

возможность выбраться с другой стороны; и действительно, вскоре тропинки выходят из благоухающего мрака на ослепительный свет, озаряющий чудный ландшафт, который заменяется все новыми причудами в виде рощиц и садов, пока не появляются наконец скалистые Симентальские горы, с своими острыми вершинами на фоне южных облаков.

19.* Хотя существует очень мало областей в Северной Европе, которые при всей их мрачности и унылости не могли бы доставить мне удовольствия, хотя весь север Франции (исключая Шампани), очень скучный на взгляд большинства путешественников, представляется мне настоящим раем; хотя, исключая Линкольншира, Лейчестершира и одной или двух подобных же, вполне плоских обла-

* Этот параграф и следующий не имеют никакого отношения к главным положениям книги, а касаются только моего личного свойства. Я был очень удивлен, когда заметил в первый раз, до какой степени индивидуально было заявление живописцев-прерафаэлитов, что кусок гнилого болота, поросшего тростником, прекраснее Benvenue.

стей, не найдется во всей Англии ни одного графства, проселки которого я не находил бы удовольствие исследовать шаг за шагом, тем не менее высшее наслаждение доставляют мне воспоминания о холмах, придающих своеобразную окраску каждому камешку и каждой травинке низин.

Прелестные французские холмы, зеленые при ярком солнечном освещении, восхищают меня или их действительным горным характером (так как на протяжении последовательного ряда мысов бока французских долин достигают величия настоящих горных местностей), или неровностью почвы и резкими выступами среди виноградных лоз, листва которых высоко тянется к голубому небу, как мы это видим, например, в Веве и Калэ. Нет той волны на Сене, которая бы не вызывала в моем уме представления о первых подъемах песчаника и о сосновых лесах Фонтенебло и не наполняла душу надеждой увидать Альпы, если покидаешь Париж и направляется на юго-восток, при утреннем солнце, сверкающем на светлых волнах Шарантона. Не будь этой на-

дежды и такой ассоциации идей, не обманывай я себя мечтой о том, что, может быть, при следующем подъеме дороги покажется облачко голубого холма на светлом фоне горизонта, пейзаж, как бы он не был прекрасен, все же производил бы на меня род болезненного и удручающего впечатления. Весь вид с Ричмондского холма и Виндзорской террасы, нет, все сады Алкиноя с их непрерывным летом или сады Гесперид (если бы они были плоски и не прилегали к Атласу) с их золотистыми яблоками я, не колеблясь, отдал бы за один поросший мхом камень в фут шириною и за два листа папоротника.

20. Не могу найти подходящих слов для выражения того удовольствия, какое я испытывал всегда, когда, после продолжительного пребывания в Англии, я добирался до подножия старой башни церкви Калэ.

Ея глубокая небрежность и благородная невзрачность; ее ясно выраженная история прожитых ею лет, чуждая, однако, признаков слабости или упадка; ее запустение и суровая

мрачность, как печать, наложенная дующими с канала ветрами и горькими морскими травами, которыми она поросла; ее графит и черепицы, расшатанные и покрытые трещинами; ее кирпичное здание со множеством болтов, скважин и безобразных трещин, но все еще крепкое, как обнаженная темная скала; ее равнодушие к мнению и чувствам о ней других — все это не предъявляет никаких требований, не обладает ни красотой, ни привлекательностью, ни гордостью, ни изяществом, но и не напрашивается на сострадание. Это не какая-нибудь бесполезная и жалкая развалина, слабая или безрассудно болтающая о лучших днях, — нет, это руина все еще полезная, выполняющая свой ежедневный труд, как старый рыбак, разбитый и поседевший среди бурь, который, изо дня в день, продолжает забрасывать и тянуть свою сеть. Так стоит она, не скорбя о своей прошедшей юности, белая, худая и массивная, и собирает под свой кров человеческие души. Звук ее колоколов, созывающих на молитву, все еще раздается с нее; и серый шпиц ее далеко виднеется с моря,

главный из трех возвышающихся над пустынным берегом, холмистым и песчаным, о который разбивается прибой волн. Один из них, шпиц маяка — для жизни, другой, каланчи — для труда, а этот — для терпения и прославления.

Я не могу и на половину выразить ни того странного удовольствия, которое я испытываю при виде этой старой башни, ни тех мыслей, какие она во мне вызывает, являясь в некотором роде кратким резюме всего, что придает интерес континенту Европы, в противоположность новым странам; и, главным образом, вполне выражая ту старость среди деятельной жизни, которая гармонически связывает прошедшее с настоящим. У нас, в Англии, есть новые улицы, новые гостиницы, зеленые подстриженные лужайки и возвышающиеся среди них развалины — простые образчики Средних веков, выставляемые как бы напоказ на кусках бархата, которые, если бы не их размеры, с удобством можно было бы поместить под колпаками, на полках музея. Но на континенте сохранились и не порваны

звенья, соединяющие прошлое с настоящим, и ввиду той пользы, какую могут оказывать эти седые развалины, им предоставлено стоять наряду с молодыми, и, таким образом, сохранившиеся здания непрерывающеюся цепью поколений следуют друг за другом, занимая место, подобающее каждому из них. Так и эта башня Калэ, с ее величием, с явными следами допускаемого постепенного упадка, с ее бедностью и отсутствием всяких претензий, всего показного и всякой заботы о внешнем блеске, заключает в себе глубокое и беспредельное символическое значение, тем более поражающее вас, что представляет резкий контраст с английскими сценами, полными противоположных чувств*.

* Мой друг не хочет выписывать противоположных мест из книги, желая, по-видимому, составить чистейшее желе, без всякой примеси. Ну что ж, я очень благодарен, что она любит желе, и могу, во всяком случае, быть уверен, что оно выйдет у нее хорошо.

ОТДЕЛ III

Небо

21. Удивительно, как мало вообще люди знают о небе. В этой части мироздания природа, более чем в какой-либо другой, служит для них обильным источником наслаждений, бесед и поучений, а между тем к ней-то именно мы и относимся с наименьшим вниманием. В мире немного других творений, в которых все стороны их организации не столько удовлетворяли бы материальным и будничным целям, сколько доставляли бы простое удовольствие; все материальное назначение неба может быть вполне выполнено им, насколько нам известно, если его синева приблизительно через каждые три дня покрывается суровыми, мрачными, дождевыми тучами, которые, смочив хорошенько землю, снова на время исчезают,

оставив за собой только утреннее облачко и вечерний туман для росы. А между тем природа в любой момент нашей жизни производит явление за явлением, картину за картиной, великолепие за великолепием и, спокойно вырабатывая изысканные и постоянные принципы наиболее совершенной красоты, несомненно*, все это делает для нас, с целью доставить нам ряд непрерывных удовольствий. И каждый человек, в каком бы положении он ни находился, как бы он ни был далек от других источников красоты и прелести, имеет этот дар всегда перед собою. Прекраснейшие местности на земле могут быть доступны и знакомы немногим; человеку не предназначено жить постоянно среди них; они вредны тем, что человек перестает наслаждаться ими, имея их всегда перед глазами; но небо создано для всех, и как оно ни блестяще, человеческая природа не пресыщается, на-

* Так, по крайней мере, думал я в двадцать четыре года. В двадцать почти лет я находил, что есть и другие существа в мире, находящие удовольствие или неудовольствие в известном состоянии непогоды.

слаждаясь ежедневно его блеском и красотой. Все его явления как бы приспособлены для непрерывного услаждения и возбуждения сердца, для очищения его от всякого сора и пыли. То спокойное, то капризное, то страшное, оно и двух минут сряду не бывает одним и тем же. Почти человечное в своих страстях, почти разумное в своей кротости, почти божественное в своей беспредельности, оно так же явно обращается к тому, что в нас есть бессмертного, как и выражает свое вмешательство в наказании и благословении того, что в нас есть смертного. И, однако, мы никогда не внемлем ему, не всматриваемся, не вдумываемся и обращаем исключительно внимание на его воздействие на наши животные чувства. Мы глядим на все, с чем оно больше обращается к нам, нежели к животным, на все, на чем печать воли Всевышнего, свидетельствующая, что нам назначено получить больше от небесного свода, окутанного облаками, чем от света и росы, которые мы разделяем с плевелами и червями; мы глядим на все это как на ряд незначительных, однообразных

случайностей, слишком обыкновенных и ничтожных, чтобы заставить нас задуматься и отдаться чувству восторга. Когда же в минуты полной праздности и бессмысленности мы заводим речь о небе как о последнем предмете для разговора, то о каких его явлениях мы говорим? Одни говорят — что было мокро, другие — что было ветрено, третьи — что было тепло. Кто из всей болтливой толпы может передать что-нибудь о формах и пропастях той цепи высоких белых гор, которая опоясывала вчера горизонт в полдень? Кто видел узкий луч солнца, пробившийся с юга и ударявший о их вершины, пока они не растаяли и не превратились в пыль голубого дождя? Кто видел пляску бледных облаков, когда солнце покинуло их прошлою ночью и западный ветер гнал их перед собой, как сухие листья? Все это промелькнуло незамеченное, и мы почувствуем об этом сожаления; если же когда-нибудь мы и перестаем относиться апатично хоть на минуту, то в силу чего-нибудь грандиозного или необычайного. А между тем не в могучих и грозных явлениях стихийных сил, не в стуке

града, не в порывах вихря сказываются возвышеннейшие свойства великого. Бог проявляется не в землетрясении, не в огне, а в тихом, спокойном голосе. Только грубые и низкие свойства нашей природы могут быть задеты копотью и молнией. В спокойных и сдержанных проявлениях ненавязчивого величия — глубина, тишина и постоянство; то, чего нужно искать, прежде чем оно станет видимо, и любить, прежде чем станет понято, то, что творят для нас и бесконечно разнообразят ежедневно ангелы; то, что можно находить всегда и находить сразу, — это и научает нас, главным образом, благочестию и благословению, даруемому красотой.

22. Мы, обыкновенно, думаем, что дождевое облако темно и серо, не подозревая, что ему мы, может быть, обязаны самыми красивыми, если не самыми ослепительными оттенками неба. У нас, в Англии, часто на заре дождевые облака образуют нежные ровные пространства, незаметно сливающиеся с синевой, или на небольшом протяжении собира-

ются в ясные полоски, перекрещивающие ряды более широких туч, и все это купается в невыразимом блеске розового, пурпурового, янтарного и голубого чистого цвета, полного прелести, не яркого, а матового и мягкого. Если вглядеться в эти массы полос пристальнее, то окажется, что они состоят из пучков или кос, подобных сырцовому шелку, причем каждый пучок состоит как бы из ряда снопов светлого дождя.

23. Водяной пар или туман, насыщающий атмосферу, становится видимым точно так же, как комнатная пыль. В тени вы не только не можете видеть самой пыли, потому что она не освещена, но вы даже можете видеть сквозь пыль другие предметы, и она не затемняет их; таким образом, воздух становится действительно прозрачнее при отсутствии света. Там же, куда проникает солнечный луч, каждая пылинка делается видимой, и косой луч этот является настоящим препятствием для зрения, так что сквозь него нельзя ясно различать предметы. Точно так же везде, где пары осве-

щены косыми лучами, они становятся видимыми, как белизна, более или менее вредящая чистоте синевы и уничтожающая ее пропорционально степени освещения. Но где пар в тени, там он слабо отражается на небе, которое только слегка кажется от этого глубже и сероватее, чем было бы при других обстоятельствах. Сам же пар, если только он не очень густ, незаметен и нечувствителен.

24. Имеет ли читатель ясное представление о том, что такое облака?*

Тот белый туман, который утром так ровно и мягко стелется по долине, сквозь который верхушки деревьев выступают, как при наводнении, — почему *он* так тяжел, почему, спрашивается, ложится он так низко, если он так нежен и слаб, что стоит лишь солнцу посиять над ним в течение нескольких минут, и он растает бесследно в роскоши лучезарного утра? А эти колоссальные пирамиды, огромные и плотные, с контурами скал, способные

* Эта выписка из пятого тома и заслуживает большого внимания.

вынести на своих огненных боках удары высокостоящего солнца, — почему *они* до того легки, что основание их носятся над нашими головами и высоко парят над вершинами Альп? Почему эти облака таят не при восходе солнца, а при заходе, не препятствуя блеску сумеречных звезд, в то время как туман долин снова саваном окутывает землю? Или вот эта тень облака, прокрадывающаяся вдоль группы сосен; нет, она не только прокрадывается, а преследует и обвивает их, тихо и медленно. Вот она спадает прекрасной волнистой полосой, как женская вуаль, то бледнея, то совсем исчезая; мы на несколько мгновений отводим от нее свои взоры, затем оглядываемся назад, а она снова там. Что ей за дело до этой группы сосен, вокруг которых она увивается и в ветвях которых волнуется, колыхаясь взад и вперед? Не спрятала ли она облачного сокровища во мху у их корней и не стережет ли она его таким образом? Или, может быть, какой-нибудь могучий чародей превратил ее в влюбленного оборотня или крепко привязал к этой преграде из ветвей? А вон тот облач-

ный полумесяц, изогнутый, как лук стрелка над снежной вершиной, высочайшей из всех гор, — белая дуга, образующаяся только над высочайшим гребнем, — почему стоит она здесь, как отражение снега, нигде не касаясь его, так что ясное небо видно между ним и краем горы, но и никогда не отступая от него, вися над ним, как белая птица, парящая над своим гнездом? Или эти грозные облака, собирающиеся на горизонте, эти драконы с огненными языками, — кто управляет их открытыми батареями? Что пожирают они своим, наполненным парами, ртом, выбрасывая клочья темной пены? Союзные левиафаны небесного моря, из ноздрей которых исходит пар, очи которых словно веки дениц и против копей, стрел и панцирей которых бессилен каждый, обнажающий на них свой меч. Где носятся полководцы их армий? Где положен предел их шествию? Грозный ропот, которым они, как бы переговариваются с утра до вечера, какая сила заставила его умолкнуть, чья рука повернула облака назад, по тому же пути, по которому они пришли?

Не знаю, найдет ли читатель все эти вопросы легкоразрешимыми. Я же далек от этого и скорее думаю, что некоторые тайны облаков никогда не будут нам вполне поняты. Знаешь ли ты колебание облаков? Можно ли дать на это не горделивый ответ? Это дивное дело Того, Чье знание совершенно? Может ли наше знание быть когда-нибудь таким же?

Я, с своей стороны, рад этой тайне и думаю, что читатель, должен разделять со мной мою радость. Он должен быть не менее благодарен за летний дождь, и утренние облака не могут утратить для него своей красоты потому только, что наталкивают его на серьезные вопросы, уяснению которых, если мы всмотримся внимательнее в небесную летопись, может быть, помогут нам намеки на ответ, развеянные там и сям*.

И хотя воздух на юге и востоке может быть *сравнительно* чище, тем не менее он не абсолютно чист, как и наш северный. Сильная яс-

* Сравни в «Sartor Resartus» мальчика, любующегося со стены сада.

ность — на севере ли до и после дождя, на юге ли, в известные моменты сумерек — есть всегда, насколько я знаком с явлениями природы, исключительное явление. Известного рода туман, или мираж, или смесь света и облачности — вот общие явления. Расстояние, на котором начинается действие тумана, может разнообразиться в различных климатах, но оно существует всегда, а следовательно, по всей вероятности, указывает на то, что мы должны ему радоваться... Мы не должны, конечно, удивляться, что туман и все происходящие от него явления очаровательны и непонятны нам, так как наше разумное счастье должно зависеть от нашей готовности получить только частичное знание, даже и в тех областях, которые нас наиболее касаются. Если же мы станем настаивать на совершенной ясности и на полном объяснении каждого вопроса нравственности, то немедленно впадем в мучительное безверие. Все наше счастье, вся сила энергии нашей деятельности зависит от нашей способности дышать и жить в облаках, довольствуясь тем, что мы видим их отверсты-

ми здесь и заволокнутыми там, от нашей способности радоваться тому, что мы можем уловить сквозь тончайшую их оболочку проблеск чего-то устойчивого и существенного, и все же находить благородство даже в самой тайне и радоваться, что нежная вуаль опущена там, где неумеренный свет мог бы ослепить, а бесконечная ясность утомить нас. Да, я убежден, что недовольство этим вмешательством тумана есть одна из форм надменного заблуждения, легко принимаемого за добродетель. Довольствоваться полным мраком и незнанием действительно недостойно человека, вследствие чего мы и думаем, что любовь к свету и приобретение знаний всегда хороши. А между тем (как в вышеприведенных вопросах) когда к делу примешивается гордость, то даже стремление к знанию и свету может быть дурно. Знание и свет хороши, но человек погибает в поисках за знанием, а моль — в поисках за светом. И если мы, покоренные раньше моли, не примиримся должным образом с подобной тайной, то также погибнем. Но принятая со смирением, она тотчас же становится

элементом радости; и я уверен, что каждый, правильно развитой ум должно радовать не столько ясное понимание чего-нибудь, сколько сознание, что в мире существует бесконечно больше таких вещей, которых он не в силах познать. Только гордые и ничтожные люди могут на это сетовать, потому что, трудясь, мы, если захотим, всегда можем узнавать все больше и больше. Но удовольствие для людей скромных, мне кажется, заключается в сознании, что путь бесконечен и что сокровища неисчерпаемы. Наблюдая, как облака несутся бесконечными рядами, они уверены, что, в конце концов и с течением времени, тайна бесконечности будет раскрываться все больше и больше, так как их неясность есть только признак и необходимое свойство их неисчерпаемости. Я знаю, что есть пагубная тайна и смертельный мрак — тайна великого Вавилона, — мрак сомкнутых глаз и замкнутой души; но не будем смешивать их с той славной тайной вещей, в которую и сами ангелы хотели бы проникнуть, и с тем мраком, который даже для ясных глаз и для открытой души

все же остается пока запечатанными страницами вечной книги.

25. Наблюдайте на какой-нибудь одинокой горе, при восходе солнца*, когда ночные туманы только что начинают подниматься с равнины, наблюдайте их белую, как бы озерную гладь, когда они, более холодные и более спокойные, чем безветряное море при лунном полуночном свете, носятся с правильными бухтами и извилистыми заливами вокруг островидных вершин более низких гор, не затронутых еще рассветом, и, когда первый солнечный луч покажется над этими серебристыми бороздками, смотрите, как пена их волнистой поверхности разбивается и исчезает, а внизу, под ними, блестящий город

* Я забыл теперь, к чему все это относится. Кажется, это воспоминание о Риги, причем восторженный зритель проводит день и ночь, наблюдая и подвергаясь действию сильной грозы, лишенный завтрака и обеда. Я видел подобную грозу и не раз присутствовал при подобном восходе солнца, но сильно сомневаюсь, чтобы нынешние посетители, путешествуя по железной дороге, могли увидать ее.

и зеленые пастбища расстилаются, словно Атлант, между двумя белыми изгибами извилистых рек.

Освещенные места на сверкающих шпицах с каждой минутой становятся все ярче и шире по мере того, как волны тумана развеиваются и исчезают над ними, и смешанные гребни и кряжи темных холмов укорачивают свои седые тени на равнине. Подождите еще немного, и вы увидите, как эти рассеянные туманы, собравшись в равнинах, станут надвигаться на вас вдоль извилистых долин, пока не осядут спокойными массами, радужными при утреннем свете, не осядут на широкое лоно более высоких холмов, и пока их сплоченные волны не распустятся и не превратятся в одеяние материального света и не улетучатся, затерявшись в блеске, чтобы появиться снова повыше на ясном небе, подобно дикому, блестящему, невероятному видению, непостижимому и без всякого основания исчезающему в неуловимой и улыбающейся над ними синеве. Подождите еще несколько, и вы увидите, как эти туманы сгустятся в белые башни и располо-

жатся, словно крепости, вдоль мысов, массивные, неподвижные, и только вершины их будут с каждой минутой тянуться все выше и выше к небу, отбрасывая все более длинную тень перпендикулярно скалам, вместе с тем вы увидите, как из-за бледной лазури горизонта выступит группа узких, темных, тонких облаков, которые мало-помалу станут заволакивать небо своею серою сетью, так что кругом распространится мрак, птицы перестанут петь и листья замрут в безмолвной неподвижности; потом перед вами появится образовавшиеся горизонтальная полосы темной тени и, наконец, мрачная туча, неизвестно откуда взявшаяся. Вы не видали, как она образовалась, но, оглянувшись назад, на то место, которое за минуту перед тем было еще светло, вы встретите уже там облако, висящее над пропастью, как сокол над своей добычей. Потом вы услышите внезапный порыв очнувшегося ветра и увидите, что эти сторожевые башни пара снялись с своего основания и над долиной опустились струящиеся завесы темного дождя, падающего с отяжелевших облаков чер-

ной висящей бахромой или движущегося бледными столбами вдоль поверхности озера, на ходу взбивая ее в пену. Потом, при солнечном закате, вы увидите, как буря пронесется на минуту с холмов, оставляя их широкие бока дымящимися и все еще обремененными белоснежными, разорванными клочьями причудливого пара, то исчезающего, то снова появляющегося, между тем как солнце, такое, по-видимому, близкое и уловимое, но пылающее позади вас, как докрасна раскаленный шар, пробивается сквозь порывы ветра и несущиеся облака, ниспадет стремглав и, как бы не думая больше подняться, обливает весь воздух своею кровью. Тут вы услышите замирающую бурю в бездне ночи и увидите на востоке зеленоватое сияние, загорающееся на восточных холмах. Этот свет будет становиться все шире и ярче и, наконец, мало-помалу, среди облачных полос выплывет большой белый круг медленной луны. Он затмевает своим блеском звезду за звездой и выставляет на их место целое полчище бледных, проницаемых, клочковатых облачков, которые движутся ру-

ка об руку, толпами и группами, так равномерно и дружно, что, кажется, будто все небо несется вместе с ними, а под ними вращается земля. Затем подождите еще с час, пока восток не станет снова багровым, и пасмурные горы, несущиеся на встречу к нему в темноте, как волны бушующего моря, не потонут одна за одной в его жгучем сиянии. Наблюдайте блеск белых ледников с их тропинками, извивающимися вокруг гор, подобно могучим змеям с огненной чешуей. Вглядитесь в колонновидные вершины печальных снегов, освещающие одна за другой бездны, находящиеся внизу, под ними, из которых каждая представляет сама по себе как бы новое утро, причем длинные их лавины спускаются вниз живыми потоками, более широкими и яркими, чем молнии, воссылая каждая свою дань гонимого снега, подобно дыму кадильному, вздымающемуся к небесам; розоватый свет их молчаливых куполов озаряет румянцем небо кругом их и над ними, пронизывает более густым светом пурпуровые ряды поднимающегося облака и мимоходом осеняет новой славой каждую изви-

лину, пока наконец все небо, как багровый покров, не является затканным под куполом волнистого пламени и с нагроможденными сводами, навеянными как бы крыльями многих сонмищ ангелов. И когда от восторга вы уже не в силах более любоваться и преклоняетесь под влиянием трепета и любви к Творцу и Создателю всего вами виденного, то скажите мне: кто лучше всех выразил и выяснил вам это Его послание людям?

26*. Повествование о днях мироздания в первой главе Книги Бытия во всех отношениях ясно и понятно для самого простого читателя, за исключением творения второго дня. Я полагаю, что равнодушные читатели пробежали это место, не постаравшись понять, а простые и верующие взглянули на него как на высшую тайну, не предназначенную для по-

* Это место, до конца отдела, есть одно из последних и наиболее удачно написанных мною во времена моей юности; и я тем более могу это утверждать, что предлагаемый текст или может быть принят как пояснение, или окончательно отвергнут.

нимания. Но во всей остальной главе нет тайны, так что, мне кажется, несправедливо делать вывод, будто она имелась тут в виду. Место же это должно иметь для нас особенный интерес, как первое упоминание в Библии слова «небо», и единственное, в котором это слово «небо», столь важное для нашего понимания наиболее ценных обетований Св. Писания, получает определенное объяснение. Посмотрим же, не можем ли мы при помощи внимательного сравнения этого стиха с другими местами, в которых встречается это слово, дойти до такого же ясного понимания этой части главы, как и всей остальной. Заметим предварительно, что английское слово «твердь» темно и неупотребительно; мы пользуемся им только как синонимом «неба», другого же ясного понятия оно не выражает. Далее, мы освоились с этим стихом и, благодаря этому, воображаем, что он имеет тот смысл, в котором его легко можно было бы заменить фразой: «Бог сказал: „да будет нечто среди вод“ — и назвал это нечто небом». Между тем, слово «пространство»

имеет точный смысл и выражение: «Бог сказал: „да будет пространство посреди вод“ — и назвал это пространство небом» вполне понятно. Признав это выражение вполне подходящим, нам остается только спросить: какое пространство, названное небом, отделяет воды от вод? Мильтон допускает термин «пространство», но подразумевает под ним всю атмосферу, окружающую землю. Между тем, насколько мы можем предполагать, в пространстве за нашей атмосферой нет воды, и выражение о разделении вод не имеет, таким образом, точного смысла. Относительно же всей главы мы должны всегда помнить, что она имеет целью просвещение всего человечества, а не одного только образованного читателя, и что, следовательно, самое простое и самое естественное толкование есть и самое правдоподобное и самое верное. Непросвещенный читатель мало знает о том, как и какая атмосфера окружает землю, но мне кажется, что стоит ему только мельком взглянуть на небо, когда в отдалении идет дождь, и увидать уровень основания облаков, из которых ни-

спадает ливень, чтобы придать верное и удобопонятное значение словам «пространство посреди вод». Когда же, заручившись этой идеей, он перейдет к более точному исследованию, то тотчас же поймет, если обращал хоть какое-нибудь внимание на свойства облаков, что уровень их основания действительно очень строго отделяет «воды от вод», иначе сказать, отделяет воды скопившиеся от вод, находящихся в воздухе, воды падающие и текущие от вод возносящихся и парящих. Затем, если мы исследуем слово «небо» в теологическом смысле и рассмотрим те места, где упоминается об облаках, как об обителе Бога, то увидим, что Бог шел впереди израильтян в столпе облачном; явился в облаке на Синае; в виде облака — над Кивотом Завета; наполнил облаком храм Соломона после его освящения; появился в большом облаке Иезекиилю; явился в виде облака перед глазами учеников при Преображении и так же явится в день суда: «...и увидят Сына человеческого, грядущего на облаках небесных с силою и славою великою». Далее «облако» и «небо»

употребляются как слова, заменяющие одно другое в тех псалмах, которые наиболее ясно рисуют могущество Бога: «...наклонил Он небеса и сошел. И мрак сделал покровом Своим, сенью, вокруг Себя мрак вод, облаков воздушных» (Пс. 17, 110, 112); «Господи, милость Твоя до небес, истина Твоя до облаков!» (35, 6); «Воздайте славу Богу! Величие Его над Израилем, и могущество Его на облаках» (Пс. 67, 35); «Облака изливали воды, тучи издавали гром, и стрелы Твои летали. Глас грома Твоего в круге небесном» (Пс. 75, 18, 19); «Облако и мрак окрест Его; правда и суд — основание престола Его. Небеса возвещают правду Его, и все народы видят славу Его» (Пс. 96, 2, 6). Во всех этих местах, если они имеют определенный смысл, значение слова «облако» вполне понятно. Но мы слишком склонны считать их просто величественными, неясными образами и, вследствие этого, мало-помалу утрачиваем понимание их жизненного смысла и силы. Выражение, например, «наклонил Он небеса» многие читатели считают, я полагаю, великолепной гиперболой, относя-

щейся к особенному грозному проявлению Божественной силы псалмопевцу. Но выражение это или имеет ясный смысл или совсем бессмысленно. Если понимать под словом «небо» все бесконечное пространство, окружающее землю, то выражение «наклонил небеса» хотя и величественно, но лишено всякого смысла: бесконечного пространства нельзя ни наклонить, ни приблизить. Если же под словом «небо» понимать облачный покров над землей, то выражение это не покажется ни гиперболичным, ни темным; в нем чистая, полная, точная истина, и оно изображает божество не в особенном Его проявлении Давиду, а совершающим то, что оно всегда, день за днем, совершает перед нашими глазами. Понимание слов в их простом значении дает нам возможность постигать непосредственное присутствие Божества и Его проявление тут вблизи нас каждый раз как грозовое облако задерживается в своем шествии.

При смутном же и неточном понимании слов мы отодвигаем идею о Его присутствии

далеко от нас, в те сферы, которых мы не можем ни видеть, ни знать; и, мало-помалу, вместо ощущения близкого присутствия живого Бога, мы останавливаемся на темном и отдаленном представлении пассивного Божества, обитающего в непостижимых местах и блекнущего в бесчисленном формализме законов природы. Все заблуждения подобного рода — а в настоящее время мы находимся в постоянной и прискорбной опасности впасть в них — происходят от ошибочной в своем основании идеи, что человек может «при помощи исследований, обресть Бога — обресть Всемогущего и постичь Его в совершенстве», т. е. при помощи рассуждения и накопления научных знаний постигнуть природу Божества более точно и возвышенно, чем в состоянии сравнительного неведения. Между тем до очевидности ясно, что необходимо, чтобы Бог проявлял Себя перед своими созданиями простым путем, понятным *всем* этим созданиям. Общение с своим Творцом должно быть доступно всем, как ученым, так и неученым, как людям с обыкновенными, так и с выдаю-

щимися способностями; и допущение к подобному общению должно основываться не на знакомстве людей с астрономией, а на обладании ими человеческой душой. Для того чтобы сделать это общение возможным, Божество сошло с своего престола и не только облеклось в лице Сына в нашу человеческую плоть, но и приняло в лице Отца облик наших человеческих мыслей, даруя нам, в силу Своего Божественного свидетельства, возможность представлять Его себе просто и ясно, как любящего отца и друга, с Которым мы можем быть в общении, Который внемлет нашей мольбе, Которого печалит наше непослушание, отдаляет наша холодность и равнодушие, радует наша любовь и прославляет наш труд, Который, к довершению всего, непосредственно и деятельно руководит всеми законами и переворотами в природе. Такое детское понимание Бога, несомненно, единственное, могущее быть всемирным, а следовательно, и единственно истинное *для нас.* В ту минуту, когда мы, в гордыне сердца своего, отказываемся от того, чтобы Всемогущий

снисходил до нас и поддерживал нас, а желаем, чтобы Он возвеличился перед нами в Своей славе; и в ту минуту, когда мы надеемся, что, будучи по своим крупицам человеческих знаний на одну или две пылинки выше своих собратий, мы можем видеть возвеличение Творца, Бог ловит нас на слове. Он возвышается в Своем невидимом и непостижимом величии, шествует не нашим путем, а Своим, углубляется в Свои, а не в наши мысли, и мы остаемся одни. И тогда мы, в безумии сердца своего, говорим: «Нет Бога».

Поэтому я и желал бы иметь такое откровение о творении Божием, которое при обыкновенных границах человеческого знания и воображения может быть вполне понятно для человека простого ума. Итак, принимая во внимание, что слова «небо и земля» употребляются всегда, как имеющие равные взаимные отношения («так совершены небо и земля и все воинство их»), я разом отвергаю всякое мнение, в силу которого слово «небо» должно означать бесконечность пространства, населенного бесчисленными мирами, потому

что эта беспредельность неба и та песчинка, какой являются по отношению к нему не только земля, но и само солнце со всей его Солнечной системой, не могут иметь равенства отношений, не могут быть сравниваемы. И я думаю, что «небо» означает ту часть творения, которая находится в тесной связи с нашим земным шаром; под словами Апокалипсиса «небо скрылось, свившись, как свиток» я разумею совместное и относительное разрушение расплавленных элементов при очень сильной теплоте; под «сотворением тверди», насколько это относится до человека, я понимаю дивное устройство облаков, при котором как великая равнина вод образуется на поверхности земли, так такая же равнина вод расстилается в выси воздуха и поверхность облаков соответствует поверхности океана. И эта высшая небесная равнина составлена из вод, как бы прославленных по самой своей природе; они не гасят огня, несут пламя в своих собственных недрах, уже не ревут, вздымаемые бурями или разъединяемые скалами, а с одного конца земли до другого шлют друг

другу ответы голосом своих громов; их не сдерживают определенные берега и не направляют неизменные русла, а носятся они по воле, как сонмы ангелов, избирая горные высоты и располагаясь на них лагерем; они не стремятся уже поспешно вниз, движутся, чтобы ниспасть, и не теряются в лишенных света безднах, но осеняют восток и запад колыхающимися своими крыльями и озаряют мрак бесконечной дали разноцветным своим покрывалом алой и пурпуровой канвы с огненной вышивкой.

Таково, по моему мнению, устройство тверди, и мне кажется, что материальной близостью этих облаков Бог хочет дать нам познать Свое непосредственное присутствие как Творца... не покидающего, а судящего и благословляющего нас: «...земля потряслась, и небеса содрогнулись от присутствия Господа». «Он направляет стрелы Свои в тучи» и, таким образом, возобновляет в звуках падающих потоков дождя Свой обет вечной неиссякаемой любви; «в них раскинул Он шатер для солнца», и этот пылающий шар, который ви-

ден был бы лишь как невыносимый палящий диск в мрачной пустоте, благодаря этой тверди, окружен дивными прислужницами и умеряется посредствующими служителями; этою твердью солнцу воздвигнут храм, который оно наполняет в полдень своим блеском; твердью облаков спускается вечером пурпуровая завеса на святилище его успокоения; туманом тверди развеивается его нестерпимый свет, и его укрощенная ярость смягчается в мягкой синеве, наполняющей своим блеском всю глубь пространства, и в румянце, вспыхивающем на горах, когда они упиваются рассветом. И в этом совместном нахождении раскаленного солнца и людей под защитой тверди небесной, Бог как бы устанавливает, что Он на престоле облаков снисходит в Своем величии до нас. Как Творца всех миров живущего от века, мы Его видеть не можем, но, как Судья земли и Охранитель людей, Он действительно обитает на этом небе.

«Не клянись ни небом, потому что оно престол Божий, ни землею, потому что она подножие ног Его!»

И это появление благодатного дождя и отрадной тени, и эти видения серебристых дворцов, воздвигнутых на краю горизонта, и голоса завывающих ветров, и раскаты грома, и роскошь цветного облачения преломляемых лучей — все это лишь содействует более глубокому запечатлению в наших сердцах и уяснению простых слов молитвы: «Отче наш, сущий на небесах».

ОТДЕЛ IV

Реки и моря

27. Из всех неорганических веществ, следующих законам своей природы вне всяких посторонних влияний и вмешательств, наиболее замечательна вода. Представьте ее себе как источник всех изменчивостей и красот, виденных нами в облаках, или как орудие, придавшее рассмотренной нами земле ее симметричность и скалам их изящную форму; затем, представьте ее себе в форме снегов, покрывающих созданные ею горы тем чудным блеском, не видав который его и вообразить нельзя; представьте ее себе в виде пены источника или в том виде, в каком мы ее видим в радуге, в утреннем тумане, в глубоких, светлых прудах, отражающих свои нависшие берега, в ши-

роком озере и блестящей реке, наконец, в том, что для души человеческой является лучшей эмблемой неустанной, несокрушимой силы, в диком, разнообразном, фантастическом, неукротимом море, — и тогда скажите, что может сравняться по красоте и величию с этим могучим мировым элементом и мыслимо ли проследить бесконечную изменчивость его настроения? Нет, это все равно что пытаться изобразить душу!

28. Великий ангел моря — это дождь, ангел, заметьте, ниспосылаемый на определенное место с специальным назначением. Дело не в расстилающемся, постоянном и тяжелом тумане, а в облаке, подымающемся с моря и опускающемся в него. Все пользуется дождем: мягкий мох на камне и скале; причудливый папертник извилистых долин; придорожный ключ, неизменный, терпеливый, безмолвный, светлый, скрывающийся в своем четырехугольном водоеме из грубо отесанного камня, всегда одинаково глубокий. Зимние заносы не грязнят этого ключа, летняя жара

не истощает его, он одинаково неспособен ни загрязниться, иссякнуть; лист, упав в него, плавает, не увядая, и насекомое плывет, не замочившись; поросший травою, словно ручей, и вечно крутящийся, как река, он даже во время разлива, едва подымается до каменных ступеней, но в течение всего сладостного лета присоединяет к однообразному журчанию мрачных вод свои серебристые трепещущие переливы при прикосновении к голышам. Гораздо дальше, на юге, могущественные речные боги спешат спуститься к морю. Широкие русла рек, пустынные и выжженные, подобно горнилам наносного песка, лежат мрачные и голые; здесь же, в области мхов, нежные крылья ангела моря все окропляют росой, а тень их перьев запечатлевается на холмах; странный смех, и блеск серебристых струек, вдруг появляющихся и облепляющих блестками мшистые вершины, шлют ответ их волнам.

29. Остановитесь на полчаса у Шафгаузенского водопада с северной его стороны, там где пороги длинны, и наблюдайте, как вода

сначала подымается чистым, гладким, непрерывным столбом над выпуклыми скалами у вершины водопада, покрывая их хрустальным куполом, футов в двадцать толщиною; движение воды совершается так быстро, что становится заметным только в том месте, где пузырьки пены летят с высот, как падающие звезды. Всмотритесь также, как освещена вся листва* под растущими выше деревьями, в то время когда струя разбивается в пену, как все пузырьки этой пены горят зелеными огоньками, напоминающими разбившиеся осколки хризопала. Обратите внимание на то, как белые сверкающие брызги то и дело ослепляют вас, взлетая и шипя, словно ракеты, как потом они лопаются и несутся по ветру мелкою пылью, наполняя воздух сиянием, и как, наконец, сквозь застывшие и сгустившиеся клубы облаков беспрерывно грохочущей пучины си-

* Хорошо подмечено. Картина Шафгаузенского водопада, которую я нарисовал одновременно с его описанием, была одна из немногих моих картин или картин других живописцев, на которой Тернер остановился с серьезным вниманием.

нева воды, побелевшая от пены, кажется чище, чем небо сквозь белое дождевое облако, тогда как дрожащая радуга в мерцающем безмолвии спускается на все, то бледнея, то заливаясь румянцем сквозь брызги и блеск солнца, прячась, наконец, в густой золотой листве, колыхающейся заодно с буйной волной; через известные промежутки времени, сильный всплеск водопада подымает их капающие массы, словно снопы с тяжелыми колосьями, и потом снова, когда шум замирает вдали, опускает их над скалами, покрытыми мохом; роса, струясь с толстых ветвей деревьев по опустившимся группам изумрудных листьев, блестит белыми нитями вдоль темных береговых скал, питая лишаи, которые разрисовывают и испещряют их пурпуром и серебром.

30. Вблизи самой тропинки, по которой путешественники подымаются из долины Шамуни на Монтанвер, с правой стороны, где она начинает пролегать среди сосен, вытекает ручеек из подошвы гранитной остроконечной вершины, известной гидам под названи-

ем Aiguille Charmoz. Его заслоняет от взоров путешественника густая чаща ольховника, и журчание его едва слышно, потому что это самый незначительный поток во всей долине. Но это постоянный поток, пополняемый неиссякаемыми, хотя и незначительными глетчерами, поток, продолжающий течь до самого конца лета, когда более обильные потоки, зависящие только от таяния нижних слоев снега, высыхают в своих каменистых руслах, освещаемых солнцем. Продолжительная засуха, бывшая осенью 1854 года, наложила свою печать на все водяные источники, за исключением постоянных, и сохранила только поток, о котором идет речь, и ему подобные, находящиеся в особенно благоприятном положение для наблюдения воздействия их на горы, с которых они спускаются. Они всецело питались своими собственными ледяными ключами, и количество мелких частиц скал, уносимых ими вниз, было, конечно, минимальное, так как почти не было примесей мягкой и черноземной почвы, размываемой дождями. В три часа пополудни жаркого сентябрьского дня,

когда поток достиг своей дневной максимальной силы, я наполнил обыкновенную винную бутылку водой в том месте, где она была наименее мутна. Из этого количества воды я получил двадцать четыре крупинки песку и более или менее легкий осадок. Я не могу вычислить количества воды в потоке, но вытекающий из него ручеек, из которого я наполнил водой сосуд, давал около двухсот бутылок в минуту или несколько более и, следовательно, ежеминутно уносил вниз около трех четвертей фунта мелкого гранита. Это выйдет сорок пять фунтов в час; допуская понижение силы потока в холодные периоды дня и, с другой стороны, принимая во внимание увеличение его силы во время дождя, я считаю возможным признать его среднюю часовую работу равной двадцати восьми и тридцати фунтам или двум с половиной пудам каждые четыре часа. Этот маленький ручеек, следовательно, отбирает у Монблана и переносит на некоторое расстояние вниз несколько более шестидесяти пудов в неделю; и так как течение потока задерживается морозом только на

три или на четыре месяца, то мы можем, несомненно, допустить, что он перемещает ежегодно массу в восемьдесят тонн. Нет надобности пока входить в рассмотрение отношения этого ручья к большим потокам, текущим с Монблана в долину Шамуни*. Я взял это количество — восемьдесят тонн — как результат работы едва заметного ручейка, совершенно независимо от всякого внезапного падения камней и обвалов горных масс (один удар молнии производит порою брешь в боку мягкой скалы, похожую на выемку для железной дороги), и при помощи этого наблюдения мы можем кое-что понять в действии великого закона перемещений, которые являются условием всякого материального существования, как бы последнее ни казалось неизменным. Горы, которые по сравнению с живыми существами кажутся бессмертными, в действительности тоже гибнут; вены текущих потоков так же из-

* Я слегка сократил и видоизменил последующие рассуждения, так как подробности эти показались мне скучными; к тому же мне стыдно было за ничтожную до смешного оценку массы более широких потоков.

нуряют сердце гор, как кровообращение утомляет наше; естественная сила железных скал так же разрушается в определенное ей время, как и сила человеческих мускулов в старости, и только продолжительность периода разрушения, в глазах Творца, отличает горные цепи от моли и червя.

31. Сравнительно очень немногим людям приходилось когда-нибудь видеть воздействие на море могучего шторма, продолжающегося беспрерывно в течение трех или четырех суток; не видавшим этого явления, мне кажется, немыслимо вообразить не столько силу и величину волн, сколько полное исчезновение границы между морем и воздухом. Вода вследствие продолжительного волнения взбивается не только в пену, имеющую вид сливок, но просто в массы сбившихся пивных дрожжей, которые свешиваются канатами и клубами с волны на волну и, разбиваясь, образуют фестоны, словно драпировки, на их гребне. И все это подхватывается ветром не в виде мелкой пыли, а кривыми, висячими и согну-

тыми в кольца массами, от которых воздух становится белым и чистым, как от хлопьев снега; только тут каждая снежинка имеет фут или два длины. Сами пенистые волны так же белы, как вода под большим водопадом, и их массы, полуводяные, полувоздушные, при своем подъеме разрываются ветром на части и несутся вперед бушующим паром, который душит и давит, как настоящая вода. Прибавьте к этому, что когда влажность воздуха истощается проливным дождем, то брызги моря подхватываются воздухом, как сказано выше, и покрывают его поверхность не только паром мельчайших частиц воды, но и кипящим туманом. Представьте себе также низкие дождевые тучи, спустившиеся до самого уровня моря, как мне приходилось часто это видеть, несомые вихрем и бешеными клочьями перелетающие с волны на волну; и, наконец, вообразите себе самые волны в момент наибольшего развития их силы, быстроты, объема и бешенства, когда они образуют пропасти и горные вершины, бороздя в своем неистовом подъеме весь этот сплошной хаос, вообразите все это,

и вы поймете, что тут действительно исчезает различие между морем и воздухом, исчезают все ясные обыкновенные границы предметов горизонта: небо представляет сплошную волну, а океан — сплошное облако, и вы в любом направлении можете видеть не дальше того, что бы вы видели, если бы смотрели сквозь водопад*.

* Все это было написано только для того, чтобы показать значение картины Тернера о паровом судне, подающем сигналы во время опасности. Это хороший этюд бури, но, независимо от замысла, положительно слабый сравнительно с теми немногими словами, которыми любой великий поэт опишет море, в случае если ему представится надобность. Мне очень нравится короткое изречение в «Гаванях Англии», описывающее сильный прибой к скале: «В первый момент каменная пещера, затем мраморный столб и, наконец, исчезающее облако». Но из числа морских описаний самое подробное описание шторма встречается у Диккенса в его «Давиде Копперфильде».

ОТДЕЛ V

Горы

32. За словами, объясняющими нам назначение облаков, мы тотчас же встречаем следующие: «И сказал Бог: «да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша». Мы, может быть, не достаточно часто вдумываемся в глубокое значение этих слов. Мы слишком склонны считать их описанием события, более грандиозного только по своему объему, а не по сущности, чем повеление Чермному морю расступиться и дать Израильтянам пройти по нем. Мы воображаем, что Божество таким же образом скатывает волны великого океана в одну кучу и вечно ставит для них преграды и затворы. Но торжественные слова книги Бытия имеют гораздо более глубокое значение, как и соответ-

ствующие им слова псалма: «О делах рук Его вещает твердь».

До этого момента земля была пуста, так как была бесформенна. Повеление водам собраться было равносильно повелению «земле получить определенную форму. «Морене ринулось к своему месту в необузданном беспорядке, но отступило в спокойной покорности. Суша появилась не в виде гладкой песчаной поверхности, оставленной волнами, на которую те же волны могли бы снова предъявить свои права, а в виде последовательных рядов выпуклых холмов и железных скал, имеющих неотъемлемое навеки право на родство с твердью и на тесную связь с небесными облаками.

Нам нет надобности рассматривать теперь, какое количество времени подразумевается в книге Бытия [под словом «день»; может быть, мы впоследствии попытаемся] высказать наши догадки относительно того, в какой огненной печи плавился этот адамант, какими силами землетрясения был он разбит на куски, какие зубцы ледников и какая тяжесть

морских волн ошлифовали его и придали ему совершенную форму, но здесь, подобно тому, как историк в немногих словах суммировал мироздание, так и мы в немногих общих чертах должны составить себе понятие о нем; и когда мы читаем властные слова «Да явится суша», мы должны постараться проследить то, как перст Божий начертал на каменных скрижалях земли буквы и законы ее вечной формы, как взрыты были залив за заливом, бездна за бездной, мыс за мысом в Божественном предвидении тех границ, которые будут отделять нации; как цепь за цепью вытягивались гряды гор и как их основания укреплялись навеки; как полагался предел глубине морей, склонам и вершинам земного праха и как десница Христа впервые касалась снегов Ливана и уравнивала откосы Голгофы.

Не всегда, повторяю, нужно, а в некоторых отношениях и невозможно определить, каким образом и в какое количество времени совершено было это дело, но крайне необходимо для всех людей взвесить величие достигнутой цели и бездну мудрости и любви, проявившу-

юся в устройстве гор. Заметьте, что для того, чтобы дать миру ту форму, которую он сохраняет и теперь, требовалась не только работа скульптора. Горы и дня не простояли бы, если бы не были созданы из совершенно другого материала, чем холмы и поверхности долин. Нужно было приготовить более твердое вещество для всех горных цепей, но и не настолько твердое, чтобы оно не способно было размельчиться в землю, годную для питания альпийских лесов и альпийских цветов; не настолько твердое, чтобы среди его царственного величия и силы не видна была печать смерти, слова о которой относятся и к человеческой плоти: «Ты прах и в прах возвратишься». И из этого тленного вещества надлежало создать наиболее величественные формы в соответствии с возможностью существования для человека; горам нужно было подняться, как можно выше, скалам — стать как можно отложе, чтоб дать возможность пастухам пасти стада по их откосам и хижинам ютиться под их сенью. И заметьте, что при таком устройстве достигались две вполне определенные цели. Пре-

жде всего абсолютно необходимо было создать подобные высоты, чтобы, каким бы то ни было образом, приспособить землю для человеческого жилья, потому что при отсутствии гор не мог бы очищаться воздух, не могло бы поддерживаться течение рек, и земля должна была бы сделаться или бесплодной равниной или стоячим болотом. Но очищение воздуха и питание рек еще наименьшие услуги, оказываемые горами. Утолить жажду человеческого сердца красотою Божественного творчества, пробудить его от оцепенения возбуждением глубокого и чистого чувства удивления и восторга — вот в чем их высшее назначение. Они, как великое и благородное произведение архитектуры, доставляют, прежде всего, убежище, удобство и покой, но вместе с тем они разукрашены величественными сказаниями скульптуры и живописи. Нельзя взглянуть даже на самый обыкновенный горный пейзаж, не придя к заключению, что в связной системе гор все приспособлено к тому, чтобы соединить насколько возможно полнее и сжатее все средства для пробуждения восторга и всех

святых чувств человеческого сердца: «насколько возможно», т. е. насколько это совместимо с выполнением проклятия, тяготеющего над всей землей. Смерть должна витать и над горами; жестокие бури разрушают их, и дикий шиповник и терновник пробиваются сквозь них; но они разрушаются как бы для того, чтобы придать своим скалам более пышную форму, а кустарники пробиваются как бы для того, чтобы и самые пустынные места цвели, как розы. Даже и среди наших гор Шотландии и Кумберланда, часто слишком бесплодных, чтоб быть прекрасными, и слишком низких, чтоб быть величественными, поразительно много на их лужайках и долинах сосредоточено глубоких источников для наслаждения; тут, вплоть до самых незаметных групп цветов и лениво катящихся ручейков, вся душа природы как будто жаждет давать и давать и изливает свою бесконечную благодать с такой терпеливою щедростью и с такой страстью, что даже величайшая наша наблюдательность и признательность кажутся не более как презрением к ее благородству и равнодушием

к ее любви. Но среди настоящих гор высшего порядка Божественная цель — затронуть разом все способности человеческой души —обнаруживается еще больше.

У подножия второстепенных гор обыкновенно до некоторой степени прерывается роскошная растительность долин. Какой бы своеобразной прелестью не отличались серые плоскогорья Южной Англии, безлесные «coteaux» Центральной Франции, серые, пересеченные болотами, холмы Шотландии, во всяком случае, они лишены того, чем богаты леса и поля низменностей. Но высокие горы далеко оставляют за собою долины. Пусть читатель сначала вообразит себе внешний вид наиболее разнообразной долины любой богато культивированной страны; пусть он представит себе ее притененной красивыми лесами и зеленеющей густыми пастбищами; пусть он наполнит все ее пространство, до самого края горизонта, бесчисленными, разнообразными, жизненными сценами: по лугам пробегают веселые ручейки, группы коттеджей ютятся по берегам и по краям ласкающих взор

тропинок и улиц, поля оживлены счастливыми стадами и медленно двигающимися группами коров; и, когда читатель утомится этими бесконечными картинами, переполнив все пространство чудными фантазиями своего воображения, пусть он представит себе всю эту обширную долину, с ее нескончаемыми красотами природы и счастливой человеческой жизнью, собранной в деснице Бога, с края до края горизонта, как ткань одежды, и ниспадающей из нее глубокими складками, как мантия с королевских плеч, причем все светлые реки начинают бить водопадами над теми низинами, куда они текут, леса растут отлого на откосах, как отклонившийся всадник, когда конь его погружается передними ногами в трясину; деревушки ютятся по новым изгибам горных долин, все пастбища извиваются по холмистым лужайкам, обрызганным росой по краям, причем облака там и сям покоятся наполовину на траве, наполовину в воздухе, и этот величественный мир даст читателю только фон картины великих Альп. И даже самые чудные пейзажи низменности становятся

очаровательнее при такой перемене. Деревья, поднимавшиеся тяжело и медленно на ровной плоскости долины, приобретают удивительный отпечаток силы и грации на горных склонах; они дышат вольнее и свободнее раскидывают свои ветви, взбираясь все выше, любуясь ясным светом поверх самых верхних листьев своих собратьев-деревьев; цветы, которые на пахотной равнине падают под плугом, теперь находят для себя недоступные места, где из году в год соединяются в счастливые группы, не страшась никакого зла; и потоки, которые ползли по равнине темной медленной струей, среди нездоровых берегов, теперь ниспадают серебристым дождем, осененные радугой, и несут здоровье и жизнь всюду, куда только достигают их блестящие волны...

Поэтому далеко не бесполезно проследить вкратце характер тех трех великих назначений, которые предопределено выполнять горным цепям с целью поддерживать здоровье и содействовать счастью человечества. Их первое назначение несомненно состоит в том, чтобы придавать движение водам. Каждый

поток и каждая река, начиная с ручейка в дюйм глубины, ручейка светлого и трепещущего, пробегающего и пересекающего проселки, и кончая грандиозным и безмолвным шествием бесконечного количества вод Амазонки и Ганга, все они обязаны своею подвижностью, своею чистотой и своей силой возвышенным частям почвы. Возвышение земной поверхности, хотя бы отлогое и покатое, плоское или обрывистое, безусловно, необходимо, чтобы любая волна могла добраться до первой осоки на ее пути. Но как редко, бродя по берегам веселых ручейков, мы вдумаемся в то, как прекрасно и дивно это устройство, о котором свидетельствует каждая былинка травы, колыхающаяся в их чистых водах, как хорошо, что роса и дождь, падающие на земную поверхность, не встречают места застоя, а находят, напротив, определенные русла, начертанные для них в лощинах, куда они шумно стекают пенящимися струями, вплоть до темных канав, окаймляющих берега пышных пастбищ низин, вокруг которых их вода должна струиться медленно, среди стеблей и под

листвою лилий и вплоть до ложбинок, подготовленных для ручейков, по которым, в определенное время, они должны постоянно спускаться, иногда медленно, иногда быстро, но только безостановочно. Участок земли, по которому они должны протекать, назначается для них при каждом восходе солнца; местность, знакомая им, становится чуждой, и заставы сторожевых гор, открывавшиеся для них в трещинах и пучинах, уже препятствуют их дальнейшему паломничеству. А между тем великое сердце моря издалека зовет их к себе! «Бездна призывает бездну». Не знаю, что удивительнее: этот ли спокойный, постепенный, незаметный наклон открытой равнины, придающий движение потоку, или этот проход, проделанный для него в грядах гор и необходимый для здоровья непосредственно окружающей их местности, которая, без этого дивного приспособления, роковым образом лишена была бы притока вод из отдаленных мест. Когда великий дух реки впервые постучался в эти твердые, как алмаз, ворота? Когда привратник отпер и навсегда забросил ключи

от них в крутящийся песок? Меня не удовлетворяет, да и никого не может удовлетворить, неопределенный ответ: река проложила себе путь. Нет, это не так. Река нашла свой путь*. Я не допускаю, чтобы реки могли собственными силами проложить себе путь; они скорее способны засорить русло, чем прорыть его. Предоставьте только реке небольшую власть в долине и посмотрите, как она ею воспользуется. Она пророет себе русло? Отнюдь нет; она засорит его и самым диким, ни с чем несообразным образом предпочтет всякий другой путь старому. Если даже она будет окружена насыпью и принуждена держаться своего старого русла, то и в таком случае не станет углублять его, но сделает все возможное, чтобы поднять его дно и выйти из него. И хотя всюду, при отвесном падении она быстро прокладывает себе глубокое русло в камне или в земле, но если камень тверд, то она проложит его не шире, чем это требуется в крайней необхо-

* Я придаю большое значение этому отрывку и имел случай настаивать на нем в моих последних оксфордских лекциях.

димости. Итак, если бы существующие русла рек, прорезывающие горные цепи, были действительно проложены потоками, то они являлись бы в форме узких и глубоких лощин, как хорошо известный фарватер Ниагары под водопадом, а не в виде пространных долин. Но действительный труд настоящих горных рек, иногда гораздо более значительных по количеству вод, чем Ниагара, совсем ничтожен сравнительно с площадью и глубиною долин, по которым они протекают; и хотя во многих случаях кажется, что эти обширные долины были прорыты в сравнительно ранние периоды более сильными потоками или ныне существующими потоками при более благоприятных условиях, тем не менее, остается неизменно очевидным и столь же удивительным тот знаменательный факт, что, каковы бы ни были свойства и какова бы ни была продолжительность действующих влияний, первоначальное устройство земли было приспособлено к тому, чтобы направлять течение рек способом, наиболее здоровым и благоприятным для человека. Русло Роны могло бы быть

по большей части прорыто в ранние времена потоками, в тысячу раз большими, чем Рона, но оно совсем не было бы прорыто, если бы горы первоначально не были воздвигнуты двумя цепями, заставившими потоки течь в данном направлении. И не трудно понять, каким образом, при менее благоприятном расположении горных масс, материк земного шара или был бы покрыт громадными озерами, как покрыта теперь часть Северной Америки, или превратился бы в пустыню не то злокачественных болот, не то безжизненных равнин, на которых вода высыхала бы по мере выпадения, оставляя их большую часть года пустынными. Такие области существуют, и существуют в обширных размерах. Не вся земля пригодна для жилища человека; для него приготовлена только незначительная частица ее, как бы обитель, из которой человечество может смотреть вдаль, на остальной мир, не с удивлением и ропотом на то, что не все пригодно для жилья, а с благодарностью за чудное устройство самой обители по сравнению со всем остальным. Было бы одинаково нелепо

находить дурным, что не весь мир приспособлен для нашего житья, как и считать злом то, что земной шар не больше того, что он представляет из себя в действительности. Нам, очевидно, предназначено для жилья столько места, сколько это для нас требуется, остальное же пространство, покрытое катящимися волнами или сыпучими песками, изборожденное льдом и увенчанное огненным гребнем, дано нам для созерцания его недоступного для жизни величия. И та часть, которую мы можем населять, обязана своею пригодностью для человеческой жизни, главным образом, цепям гор, которые, стряхивая с себя излишний дождь при его падении, собирают его в потоки и озера и шлют их в известном направлении в известные места, так что люди могут строить свои города среди полей с уверенностью, что они останутся всегда плодородными, и прокладывать свои торговые пути по рекам, которые никогда не иссякнут.

И это управление движением вод не ограничивается одной поверхностью земли; не менее важное назначение гор заключается в на-

правлении потоков, ключей и родников из подземных резервуаров. Нет ничего чудесного в том, что вода бьет фонтаном из земли у наших ног; но каждый родник и каждый колодезь пополняются из горных резервуаров, размещенных так, что самого легкого падения или давления достаточно для обеспечения постоянного притока воды. А неоценимая благодать дарованной нам возможности докопаться во многих долинах до той точки, откуда вода может подниматься постоянной струей до поверхности земли, всецело зависит от вогнутости ложа, проделанного в глине или в скалах, возвышающихся по сторонам недр долин в виде замкнутого ряда гор.

Второе великое назначение гор — поддерживать постоянно изменяющийся приток и различие состава воздуха. Подобное изменение, конечно, отчасти вызывается даже при равной поверхности земли различием почв и растительности, но в гораздо меньшей степени, чем теперь, при существовании цепей гор, которые с одной стороны, выставляя свои массы камня под солнечный припек (увеличи-

вающийся от угла, под которым солнечные лучи ударяют на их откосы), а с другой стороны, отбрасывая мягкую тень на долины, расположенные у их подошвы, разделяют землю на области, различные по своему климату и побуждают постоянные потоки воздуха проходить по их ущельям в самом разнообразном состоянии. Они то увлажают воздух брызгами своих водопадов, то впитывают его и разбрасывают в разные стороны, направляя к водоемам своих источников, замыкая в трещинах и пещерах, куда никогда не проникает ни единый солнечный луч и где он становится так же холоден, как холодны ноябрьские туманы; затем, горы снова выпускают его и, давая возможность слегка подышать на откосах бархатистых полей или раскалиться среди выжженных солнцем залежей сланцеватой глины и скал, лишенных растительности, стонущим вихрем гонят его назад, сквозь расщелины льда, взвивая росистыми клубами поверх снежных полей, пронизывая его дивными электрическими стрелами и брызгами вулканов, подбрасывая его вверх фантастическим

бурным облаком, как косцы подбрасывают сено, и только когда он очистится и укротится, горы отпускают его, наконец, освежить застоявшийся воздух отдаленных долин.

Третье великое назначение гор состоит в том, чтобы производить постоянную перемену состава почвы. Без этого, возделываемая земля, по истечении известного количества лет, истощилась бы и потребовала бы тщательной перекопки со стороны человека. Но возвышенности земной поверхности доставляют ей постоянное обновление. Вершины высочайших гор дробятся на куски, которые спускаются вниз массивными камнями, обильно содержащими в себе, как мы уже видели, все вещества, необходимые для питания растений; эти скатившиеся куски разрушаются, в свою очередь, морозами и растираются потоками в разнообразного рода пески и глины, которые те же потоки беспрерывно уносят все дальше и дальше от подошвы гор. Каждый дождь, вздувающий речонку, дает возможность ее водам переносить известное количество почвы на новые места и подвергает но-

вые слои земли опасности быть подрытыми, в свою очередь. Эта мутная пена гневных вод, это отрывание берегов и скал по пути их бешеного течения не есть нарушение мирного хода природы; это благодатное действие законов, необходимое для существования человека и красот земли. Процесс этот продолжается медленнее, но не менее действительно и по всей поверхности менее волнистых местностей; и каждая струйка летнего дождя, пробегающая по рыхлым лужайкам небольшой возвышенности, несет с собой определенную ношу земли, чтобы сбросить ее на какой-нибудь новый, естественный садик, образующийся там, в ложбине.

Я не говорю о местной и частной пользе гор. Я не перечисляю то благотворное влияние, какое имеет снабжение летних источников водами горных высот, не указываю на разнообразные целебные растения, гнездящиеся среди их скал, на сочные пастбища, доставляемые ими скоту, на леса, в которых они выращивают строевые корабельные деревья, на камни, которыми они нас снабжают для по-

строек, или на минеральные руды, собираемые ими в местах, легко находимых и удобных для работ. Все эти выгоды имеют второстепенное ограниченное значение; но три великие функции, движение и перемены, производимые ими в воде, воздухе и земле, которые я только что описал, необходимы для человеческого существования. На них нужно взирать с великою благодарностью как на законы, повелевающие дереву давать плоды, а семенам размножаться по земле. И таким образом, эти необитаемые, грозные цепи мрачных гор, на которые, почти во все времена, люди смотрели с отвращением или с ужасом и от которых отступали, как будто над ними постоянно носился призрак смерти, в действительности являются источником жизни и счастья в гораздо большей и в более плодотворной степени, чем все блестящие плодородные долины. Долины только питают, горы же питают, защищают и укрепляют нас. Мы заимствуем наши идеи о бесстрашии и величии то от гор, то от моря; но мы несправедливо соединяем их во одно. Морская волна при всем своем благотворном

воздействии все уже опустошительна и ужасна; безмолвная же волна синей горы возвышается к небу в тишине нескончаемого милосердия; первая волнуется, бездонная в своем мраке, вторая же непоколебима в своей верности, и обе они хранят навеки печать определенного им символизма.

«Правда Твоя, как горы Божии, и судьбы Твои — бездна великая».

33. Горы, по отношению к остальной земле, имеют такое же значение, какое сильное мускульное движение имеет по отношению к человеческому телу. Мускулы и сухожилия гор обнаруживают свои действия с силой и с конвульсивной энергией, полной выражения, страсти и мощи; долины же и плоскогорья олицетворяют покой и безмятежное состояние тела, когда мускулы находятся в дремоте под покровом прекрасных линий, но управляя каждым их изгибом. В этом первый великий принцип правды земли. Душа гор полна деятельности, а душа долин — покоя; но и тут есть известное разнообразие в движе-

нии и в покое, начиная с бездеятельной долины, спящей, как твердь, с городами, заменяющими звезды, и кончая гордыми пиками, которые, вздымая грудь, напрягая подвижные члены, украшаясь облаками, спускающимися словно волоса с их ясного чела, возносят свои гигантские руки к небесам, говоря: «Мы живем вечно».

34. Всюду*, где бы ни находились, они образуют, по-видимому, мир; не только этот берег реки здесь или тропинка, выглядывающая там, среди изгородей и лесов, но все, начиная с самой низкой долины и кончая высочайшими облаками, принадлежит и подлежит адамантову владычеству и суровой власти скал. Мы сами поддаемся впечатлению этой вечной, непобедимой непреклонности их силы. Их

* Этот отрывок написан через несколько дет, когда я стал несколько хладнокровнее и мудрее, чем писавши отрывок 33, но, описывая, однако, вольнообразные очертания гранитных гор, которые «всюду, где бы ни находились, образуют, по-видимому, мир», я употребил это несколько причудливое выражение, которое потому и не совсем удовлетворяет меня теперь.

масса, по-видимому, менее всякой другой земной субстанции, может быть ослаблена или подчинена внешней силе. Но, всмотревшись в них ближе, мы замечаем, что все в них — движение и волнение, как у волн при дуновении летнего ветерка, и что их рябь нежнее ряби моря или озера; стоит только волне пробежать по их поверхности, и скала дрожит всеми фибрами, как струны Эоловой арфы, как эхо детских голосов в тихом весеннем воздухе. И от каждого сотрясения беспредельных гребней и глубин бездонных ущелий странное содрогание разливается в самую глубь этих великих гор. Другие, более слабые предметы, по-видимому, выражают свое подчинение Бесконечной Силе только мимолетным страхом. Когда трава склоняется под порывами ветра, когда над вершинами высоких деревьев, перед грозой, проносится шелест и в темной воде внезапно появляются более светлые круги, словно чья-нибудь невидимая рука бросила откуда-то в нее горсть пыли, предупреждая о надвигающейся буре, то мы легко можем вообразить, что содрогание ужаса про-

бежало по траве, по листьям и по воде, в присутствии какого-нибудь великого духа, имеющего власть даровать свободу урагану; но ужас проходит, и благодатный покой снова постепенно восстановляется среди пастбищ и волн. Не таковы горы. Как будто застрахованные на первый взгляд от боязни насилий или переворотов, они обречены, однако, также нести на себе символ постоянного страха. Дрожь, исчезающая на тихом озере и на медленно скользящей реке, запечатлевается навеки на скале; и между тем, как предметы, видимо переходящие от рождения к смерти, могут иногда забывать свою немощь, горам присуще постоянное воспоминание о своем детстве, о том детстве, которое пророк видел в своем видении*: «Смотрю на землю — и вот она разорена и пуста, на небеса — и нет на них света. Смотрю на горы, — и вот они дрожат, и все холмы колеблются».

---

* Вполне неверное объяснение видения пророка. Не детство, а старость земли изображает пророк Иеремия этими словами. Верное толкование в «Fors Clavigera», письмо XLVI.

35. Чем дольше я находился среди Альп и чем внимательнее изучал их, тем сильнее меня поражал факт существования обширной альпийской, плоской возвышенности или массы приподнятого пространства, на которой почти все самые высокие вершины стояли, как дети, сидящие за столом, отодвинувшись, в большинстве случаев, подальше от края возвышенности, как бы из боязни упасть; между тем как самые величественные явления в Альпах происходят не столько вследствие нарушения этого закона, сколько от того, что одна из величайших вершин, по-видимому, приблизилась к краю стола, чтоб заглянуть и, таким образом, вдруг появилась над долиной во всем своем величии. Это случилось с Ветергорн и Ейгер в Гриндельвальде и с Гранд Жорас над Коль де Ферре. Существование плоских возвышенностей вполне понятно даже и в этих, по-видимому, исключительных случаях; но большею частью великим вершинам не определено приближаться к краю возвышенности, и они должны оставаться, как сторожевые башни замков,

несколько поодаль, окруженные рядами сравнительно низких возвышенностей, над которыми переплетаются и расстилаются ряды ледников, пенясь у подножия темных центральных гребней, как громадный морской прибой, ревущий над закругленной скалой, обмывая некоторые средние ее части. Результатом подобного устройства является как бы разделение всей Швейцарии на возвышенный и низкий горный кряж, причем последний состоит из роскошных долин, окаймленных крутыми, но легко доступными лесистыми грядами гор, более или менее отделенными оврагами, сквозь которые видны частицы высоких Альп; возвышенная часть, после первой гряды в 3000 или 4000 футов, состоит из сравнительно ровного, но более пустынного пространства камней и площадок, поросших вереском, частью покрытого ледниками и расстилающегося вплоть до подножия настоящих вершин горной цепи. Едва ли нужно указывать на высочайшую мудрость и благость подобного устройства, обеспечивающего безопасность жителей высоких гор-

ных областей. Если бы громадные пики разом поднимались с самых низких долин, то каждый камень, сорвавшийся с их вершин, каждая снежная лавина, соскользнувшая с их уступов, разом спускались бы на населенное место, и в течение многих лет люди не в состоянии были бы загладить бедствий, причиненных этими обвалами, так как и камни, и снег, при своем падении, увлекали бы за собой деревья с горных откосов, оставляя только обнаженные, голые борозды там, где теперь цветущие луговины и пышные аллеи каштановых рощ. Кроме того, массы снега, попав сразу в более теплую атмосферу, быстро растаяли бы и, превратившись в потоки, вызвали бы страшный разлив всех больших рек в продолжение месяца или даже шести недель. А так как весь снег стаял бы и оставался бы только на высочайших вершинах, в области почти постоянного мороза, то летом реки питались бы только ключами и маленькими струйками, стекавшими с вершин во время солнечных дней. Рона, при подобных обстоятельствах, была бы летом не шире Северна,

и многие швейцарские долины оставались бы почти без влаги. Но все эти невзгоды предотвращаются тем особенным устройством Альп, о котором мы говорили. Оторвавшийся кусок скалы и льдина, соскользнувшая с высоких вершин, вместо того, чтобы ринуться прямо в долину, задерживаются пустынными откосами, как бы плечами, которые всюду окружают центральные гребни. Мягкие насыпи, которыми оканчиваются эти откосы, не лежат на пути падающих глыб и покрываются роскошными лесами, между тем, как снега, скопляясь на выступах находящихся над ними, в климате и не настолько жарком, чтобы они быстро таяли, превращаясь в ручьи, и не настолько холодном, чтобы предохранять их от влияния летного солнца, или образуют глетчеры, или остаются снежными полями, медленно тающими в течение целого года; и в обоих случаях они снабжают ближние деревни и прилегающие к ним пастбища постоянными и обильными источниками, а остальную Европу прекрасными судоходными реками.

В том, что подобное устройство есть наилучшее и самое разумное*, заключается, конечно, достаточное основание для его существования и многим может показаться, что дальнейшее исследование относительно его происхождения вполне бесполезно. Я же едва могу вообразить себе человека, стоящего лицом к лицу с одной из этих башен центральных гор и не задающего себе вопроса: действительно ли перед ним первоначальное создание Великого Творца? Была ли эта страшная пропасть создана Его десницей, как Адам из праха? Были ли эти трещины и выступы высечены на ней ее Творцом, как буквы на скрижалях закона, и оставлены, как вечное свидетельство Его благодеяний, среди этих небесных облаков? Или это только потомок длинного поколения гор, существующих по определенным законам рождения и роста, дряхлости и смерти? Ответ на это, несомненно, может быть только один. Сама скала внятно подсказывает его ропотом пада-

* Конечно, прежде чем высказать это суждение, я видел немало попыток другого рода устройств.

ющего камня и рассекающихся вершин. Нет, не такова она была вначале. Эти обширные пространства у ее подошвы усыпаны обломками того, из чего она состояла. Изо всех гор, может быть, именно на этих яснее всего видна печать разрушения; вокруг них наиболее мрачно разбросаны памятники и их величия и их унижения.

Каковы же они были вначале? Единственный ответ на это: «Взгляни на облако!»

36. Среди низших альпийских горных кряжей есть много мест, таких, как Col de Ferret, Col d'Anterne и соединенная цепь Buet, которые, несмотря на свой внушительный вид, полный благородства, как нельзя больше подходят к типу всего наиболее мучительного для человеческой души. Обширное пространство гористой площади* покрыто

* Этот отрывок заимствован из четвертого тома «Современных живописцев», и я повторяю слова Альберта Дюрера, высказанные им, когда он был доволен своим произведением: «Лучше того, как это сделано, нельзя в данном случае ничего сделать». Этот отрывок написан на «Col de Bon Homme».

там и сям чахлой, серой травой или мохом вперемежку с темными насыпями хрупкого сланца, и блестит медленно текущими, нагроможденными, слабыми ручейками; снеговая вода просачивается холодной влагой и разливается по пыли расплывающимися пятнами; порою, там и сям, появляются трещины и пригоршни их частиц или слоев отпадают и, неизвестно почему, сильнее размываются, оставляя после себя несколько зазубрин, напоминающих острие ножей, разъеденных уксусом, и которые выступают в полувытесненной массе из внутреннего слоя скалы; зубцы эти настолько остры, что могут порезать ногу или руку, опирающуюся на них, но, поранив, они рассыпаются и скоро погружаются снова в лоснящуюся, гладкую, липкую массу, напоминающую побережье, усеянное черной чешуей мертвой рыбы, выброшенной на берег зачумленным морем и спускающуюся в гнилые овраги, разветвляясь необозримыми пустынными откосами, где ветер вечно бродит и ревет, а снег лежит печальной заброшенной равниной, покрытой черной пылью, громоз-

дясь полосами и пятнами на дне всей этой таящей ряби.

Я не знаю другого пейзажа, который был бы так ужасен во время бури и так печален при солнечном сиянии. Там, однако, где те же скалы находятся в более благоприятном положении, т. е. расположены не столь возвышенной грядой, они образуют почву, пригодную для самой роскошной растительности; и долины Савойи обязаны им некоторыми из своих наилучших местечек — роскошными пастбищами, пересекаемыми пахотными полями, и фруктовыми садами, оттеняемыми ореховыми и вишневыми рощами. Эти пейзажи и пейзажи только что перед тем описанные представляют такую противоположность, что сопоставлены, по-видимому, вместе только для того, чтобы резче обнаружились их особенности, общие, однако, известным залежам сланца, находящимся на одинаково значительной высоте и отличающимся значительной хрупкостью. В Валиссе и Шотландии те же самые группы скал гораздо тверже и не достигают такой высоты, и в результате получается

полное различие внешней картины. Суровость климата и сравнительная прочность скал мешают роскошной растительности; но обнаженные вершины, хотя и бесплодные, не подвержены законам такого быстрого и страшного разрушения, как в Швейцарии, и естественный цвет скал чаще всего получается серовато-красный, который, вместе с вереском, составляет главные элементы глубокой и красивой, отдаленной синевы британских гор. Их более тихие горные источники не разрушают фантастических каменных гряд, и постепенное действие водопадов и водоворотов на расщелины сланца дают на переднем плане такие картины, которых не увидишь на высоких горах.

37. Маттергорнские скалы еще не носят следов разрушения, как вершины Шамуни. Они не представляют из себя оторванных частей отдельных остроконечных вершин, уступающих клочок за клочком, полосу за полосой беспрерывному процессу разрушения. Напротив, это неизменившийся памятник, неви-

димому, изваянный давным-давно, громадные стены которого сохранили и до сих пор свою первоначальную форму и стоят подобно египетскому храму с изящным фасадом и нежными оттенками красок. В течение бесчисленного множества лет солнце восходит и заходит над ними, бросая и доныне одну и ту же линию теней от востока к западу и до сих пор, в течение веков, касаясь тех же самых пурпуровых красок на столбах, напоминающих лотос; между тем пустынный песок волнуется у их подошвы, как и осенние листья скал, лежащие обессиленными кучами у основания Кервина.

И не удивителен ли такой тип скал в самом сердце и на высоте таинственных Альп, этих морщинистых холмов с их снежной, холодной, седовласой старостью; сначала они кажутся безмолвными, но стоит лишь постоять спокойно у их подошвы, как вы услышите торопливый шепот, бессвязную, сонную, порывистую речь, как будто рассказ о их детстве. Не удивителен ли этот тип, который в слабости обрел силу? Что подумала бы одна из этих

слюдистых песчинок, волнующаяся, блесткой трепещущая в водовороте древней реки, слишком легкая, чтобы погрузиться на дно, слишком слабая, чтобы плыть, почти невидимая для глаз, — что подумала бы она, когда опускалась с родственною ей грязью в бездну потока и залегая (не преднамеренно ли?) как бы навеки и безнадежно в темной тине, она, наиболее пренебрегаемся, забытая и слабая из всех земных частиц, не способная ни на что полезное, ни на какую перемену, не годная и в этом дьявольском мраке даже на то, чтобы помочь земляной осе состроить себе гнездо или послужить пищей первым волокнам моха; что, повторяю, подумала бы она, если бы ей сказала, что когда-нибудь из ее вещества и из вещества подобных ей песчинок, окрепшего, как несокрушимое железо, неспособного ни ржаветь на воздухе, ни плавиться в огне, что из этого вещества секира Бога высечет эту альпийскую башню? Что в борьбе с ней — этой бедной, беспомощной песчинкой — буйный ветер будет тщетно бушевать; что под нею — под этой глубоко павшей частичкой слюды —

снежные горы будут лежать, как стада овец, а царства земные — исчезать в беспредельной синеве; что вокруг нее, вокруг этой слабой, ветром гонимой песчинки слюды будут разражаться грозой необъятные рати тверди небесной, не покачнув ее; что огненные стрелы и гневные ночные метеоры будут отскакивать от нее в воздух; и все звезды на ясном небе при восходе своем зажгут один за другим новые маяки на снежных вершинах, окаймляющих ее местопребывание на несокрушимой вершине?

ОТДЕЛ VI

Камни

38. Нет предметов в природе, от изучения которых можно было бы почерпнуть столько знаний, сколько от изучения камней. Они как будто созданы исключительно для того, чтобы вознаградить терпеливого наблюдателя. Почти все предметы могут быть, до некоторой степени, рассмотрены без напряженного внимания и нравиться даже при поверхностном взгляде. Деревья, облака и реки радуют взор даже при небрежном отношении к ним, но об камень, попадающийся вам под ноги, при невнимании, можно только споткнуться; он не способен доставить ни радости, ни пищи, ни вообще какого бы то ни было блага и может служить только символом черствого сердца, а не сердечного дара. Но не откажите ему в до-

ле внимания и уважения, и в нем найдется больше пищи для плодотворных мыслей, чем в какой-либо другой скромной сфере мироздания, потому что камень, если внимательно рассмотреть его, окажется горою в миниатюре. Тонкость работы природы так велика, что в простой глыбе величиной в один или два фута в диаметре она может дать в сжатом виде и в малом размере такое же разнообразие форм и строений, какое ей требуется для гор в больших размерах; но, заменяя леса мохом, а утесы — зернами кристаллов, поверхность камня в большинстве случаев интереснее поверхности обыкновенных гор: она фантастичнее по форме и несравненно богаче красками.

39. В горных странах, на откосах, произрастают многочисленные группы папоротника и вереска; альпийская же возвышенность покрыта каштановыми и сосновыми рощами. Количество предметов и там и здесь может быть одно и то же, но чувство бесконечного в последнем случае гораздо сильнее, потому что количество состоит из более благородных

предметов. Действительно, поскольку величина пространства, застилаемого горизонта, служит мерилом предметов, постольку возвышенная гряда земли в десять футов вышины, если мы остановимся у ее подошвы, может занять как раз такое же пространство неба, как и горная цепь в Villcneuve; более того, иногда маленькие овраги и откосы при помощи воображения могут сделаться для нас удовлетворительными представителями тех же предметов большой горы; относя же всякую горную почву, разрушаемую водой, к общему и скромному разряду «насыпей», я подразумеваю соотношение в строении между самыми малыми высотами и самыми большими возвышенностями. Но в этом вопросе о величине произрастаний различие определено раз навсегда их положением. Куча земли несет несколько клочков моха или пучков травы, на Кумберландской возвышенности растет медовый вереск или пахучий папоротник, а на громадном возвышении Мартиньи или Вильнёв в каждой трещине скал растет виноградник, а все гребни их покрыты каштанами. Неболь-

шие насыпи и впадины, расположенные на откосе этого большого мыса, если к ним действительно приблизиться после трех- или четырехчасового подъема, превращаются в самостоятельные горы, с настоящими парками, прекрасными пастбищами и целым рядом каштановых, ореховых и сосновых аллей, огибающих их основания; между тем как в более глубоких ложбинах густо населенные деревни буквально привязаны к скале громадными стволами виноградных лоз, которые первоначально безобидно росли над неприкрепленными каменными крышами, но с годами раскинули свою обремененную плодами сеть над всей деревней и, благодаря своему пурпуровому бремени и цепким кольцам своих стеблей, прикрепили ее к почве более прочно, чем сети льстеца когда-либо прикрепляли к земле человеческое сердце.

40. Когда обломок скалы лежит, в течение известного времени, предоставленный влиянию атмосферы, то природа преобразовывает его по-своему. Сначала она хлопочет изо всех

сил над его формой, высекая на нем с изысканным разнообразием нарезки и выемки, округляя или продалбливая его с изяществом, недоступным человеческой руке, затем она окрашивает его, и каждый ее штрих оставляет на нем не красящий порошок, смешанный с маслом, а миниатюрный лесок с живыми деревьями, дивный по своей силе, красоте и по чудесам структуры.

41. На обломках скал, в кристаллических группах, мхи на переднем плане, по-видимому, сознательно и разумно принимаются за свою работу, состоящую в том, чтобы произвести такую дивную гармонию красок, какая только возможна для них. Они не хотят скрыть форму камня, но стремятся образовать на нем небольшие темные выпуклости в виде маленьких бархатных подушечек, сотканных из темно-рубиновых и золотых шелковых нитей и покоящихся на более скромной серовато-белой пелене с слегка сморщенными и завитыми краями, напоминающей снежный налет на опавших листьях. Крошечные груп-

пы прямо стоящих, оранжевых стебельков с остроконечными верхушками, и темно-зеленые, золотистые и темно-красные волокна, переходящие в черные, сотканы вместе и с невообразимой изысканностью нежно покрывают все неровности облюбованного ими камня, пока не разукрасят его столькими красками, сколько он может их вместить. И вместо того, чтобы иметь вид шероховатый, холодный, грубый или, вообще, свойственный камню, он кажется покрытым мягкой, темной, леопардовой шкурой, расшитой пурпуровыми и серебристыми арабесками.

42. Цвет белых разновидностей мрамора чрезвычайно мягок отчасти вследствие прозрачности чистого камня. Мне всегда казалось крайне удивительным явлением и одним из наиболее очевидных доказательств сознательности творения, что все пестрые виды сравнительно не прозрачны, тогда как белый камень, который при непрозрачности казался бы несколько грубоватым (как, например, простой мел) обыкновенно, как раз настолько прозра-

чен, чтобы произвести впечатление чрезвычайной чистоты, но не настолько, чтобы представлять малейшую дисгармонию с теми формами, в которые он вкраплен. Цвета пестрого мрамора тоже по большей части очень красивы, в особенности когда состоят из пурпурового, янтарного и зеленого с белым, и, по-видимому, очень много есть привлекательного для человеческого ума в этом неопределенном, испещренном жилками лабиринте их системы.

43. Мне очень часто приходилось ссылаться на видимую связь между блеском цвета и жизненной мощью, или чистотою вещества. Последняя встречается преимущественно в царстве минералов. Совершенство, с которым кристаллизуются частицы известного вещества, соответствует в этом царстве жизненной силе в органической природе; и по мировому закону красота и блеск вещества соответствуют чистоте и энергии его кристаллизации. Чистые земли всегда белы, когда приведены в состояние порошка; и те же самые

земли, замещающие глину и песок, кристаллизуются в изумруды, рубины, сапфиры, аметисты и опалы.

44. Проходя среди гор, претерпевших землетрясение и поврежденных им, мы находим, что за периодами разрушения следуют периоды совершенного покоя. Светлые вместилища тихой воды покоятся среди оторванных глыб скал; здесь сверкают водяные лилии, и камыш перешептывается под тенью этих обломков; деревни снова возрождаются на забытых могилах, и их колокольни, белеющиеся при зареве молний, снова призывают покровительство Того «в Чьих руках глубины земли и вершины гор». Нет ни одной чудной альпийской долины, которая не преподавала бы нам того же самого наставления. Где «оторванные горы разрушаются и скалы перемещаются с прежних своих мест», там именно, с течением времени, образуются прекрасные луга среди обломков, а в расщелинах, среди цветов, слышится журчанье светлых ручейков, и под охраной мшистого камня, теперь упорно неподвижного,

ютятся хижины, окруженные стадами, которым нечего опасаться ни нападений орла, ни хищных преследований волка; на лицевой стороне каждой хижины начертаны простые слова древнего обета, этот Символ веры каждого горца: «И полевые звери не будут пожирать их, они будут жить безопасно, и никто не будет устрашать их».

ОТДЕЛ VII

Растения и цветы

45. Дивно все ежедневно приуготовляемое Богом для удовлетворения нужд, желаний и воспитания человека здесь, на земле, как с ее прекрасными средствами для его жизни. Прежде всего ковер, чтобы земля была мягкой; потом фантастические разноцветные узоры на ней, высокий навес листвы, так и для защиты человека от солнечного зноя и от падающего дождя, того, чтобы дождь не испарялся быстро в облака, а оставался и питал источники, протекающие среди моха. Могущественное дерево, несущее эту листву, дерево легко срубаемое, но прочное и легкое для постройки домов и для изготовления разных орудий (древка для копья или ручки для плуга, смотря по склонностям человека) не годилось бы,

будь оно более твердо, менее волокнисто или менее эластично. Наступает зима, и опадает листва, чтобы дать возможность солнцу пригревать землю, но крепкие сучья остаются и противятся силе зимнего ветра. Семена для продолжения рода бесчисленны, смотря по надобности, и вместе с тем прекрасны, вкусны; они бесконечно разнообразны и удовлетворяют как запросам фантазии, так и нуждам человека; холодный сок, жидкую пряность, бальзам или ладан, смягчающие масла, предохраняющую резину, вяжущие, противолихорадочные, наркотические средства — все это дают они в формах, бесконечно изменчивых. Слабость и сила, нежность и твердость всевозможных степеней и видов; безукоризненная прямота, как в колоннах храмов, ничем не руководимое блуждание слабых усиков, стелящихся по земле; мощное сопротивление упругих ветвей и корней вековым бурям или колыхание, соответственное слабому журчанию летнего ручейка; корни, пробивающие мощь скал или связующие сыпучесть песков, верхушки, греющиеся на солнечном припеке пу-

стынь или скрывающиеся при наступлении весны в темных подземельях; листва, раскидывающая свои переплетенные сети далеко за пределы каждой волны океана, прикрывающая самыми разнообразными вековечными нитями вершины недоступных гор, или у дверей коттеджей осеняющая все самые нежные страсти и простейшие радости человечества.

46. Если когда-нибудь осенью на нас нападет раздумье при виде разносимых ветром увядших листьев, то, не благоразумнее ли обратить внимание на их чудные памятники? Всмотритесь, как прекрасны, как просторны стали в верх и в ширину сельские аллеи и опушки гор! Как они величественны и вечны; являясь радостью человека, утешением всех живых существ, славой земли — они служат только памятниками этих жалких листьев, разносимых сегодня перед нашим взором. Пусть же и их последний совет и пример не останутся бесследными и для нас, пусть мы, нимало не заботясь о памятниках на наших могилах, воздвигнем и себе в мире такой па-

мятник, который бы научил людей вспоминать не то место, где мы погребены, а то, где мы жили.

47. Сосна. Дивная, порою даже почти ужасная. Другие деревья, группами покрывающие скалы и горы, применяясь к требованиям форм и свойств почвы, одевают ее с нежной угодливостью и являются отчасти ее подчиненными, отчасти ее льстецами и утешителями. Сосна же возвышается всегда непреклонная и сдержанная. Я никогда не могу без чувства благоговения долго простоять под великим альпийским утесом, вдали от всякого жилья или любого человеческого сооружения, и без благоговения видеть их подруг, этих сосен, стоящих мирной толпой на неприступных, опасных выступах громадной стены; каждая из них похожа на тень соседней, стоящей сзади, и все они такие прямые, стройные, прозрачные, как сонмы духов на стенах подземного царства, не знающие друг друга и безмолвные от начала века. Вы не можете достигнуть их, не можете крикнуть им — эти деревья

никогда не слышат человеческого голоса: они находятся далеко за пределами всякого звука, кроме разве рева ветра. Никогда упавшие иглы их не попирались ничьей ногой; они стоят безотрадно между двумя вечностями, между пустотой и скалой, но обладают такой железной волей, что сами скалы как будто преклоняются перед ними и кажутся хрупкими, слабыми и неустойчивыми сравнительно с мрачной энергией их нежной жизни и монотонностью их обворожительной гордости, необъятной и непобедимой. Заметьте далее совершенство сосен. Насколько я могу судить, большинство людей составило свое понятие о соснах скорее по рисункам, чем по живым деревьям, и потому считает их корявыми, тогда как сосна в здоровом, цветущем состоянии, главным образом, отличается своею стройностью. Она плотна, как любая из ее шишек, слегка сплюснута с боков, законченна величественна, как самое лучшее дерево в каком-нибудь елизаветинском саду; и вместо того, чтобы поражать суровостью, она придает оттенок большей мягкости любому лесному пейзажу,

потому что у других деревьев видны стволы и искривленные ветви, у сосны же, растет ли она роскошными группами или пребывает в блаженном уединении, не видать сучьев. Все выше и выше поднимаются их пирамидальные ряды, или же вплоть до самой травы сгибаются круги их суков, так что видны только зеленый конус и зеленый ковер. Листва сосны не только мягче, но в одном отношении и веселее всякой другой листвы, потому что отбрасывает только пирамидальную тень. Леса низменности образуют своды над головою и испещряют почву темными пятнами; но сосна, растущая рассеянными группами, оставляет просеки среди изумрудного блеска. Ее мрак, весь ее собственный; суживаясь к небу, она пропускает солнечные лучи, осушающие росу. Если среди просек соснового леса меня иногда и охватывает суеверное чувство, то всегда без оттенка страха, вызываемого древними германскими лесами, а только как более торжественное волшебное очарование, чем пробуждаемое нашими английскими лугами, так что самую красивую сосновую просеку

в Шамуни, я называл всегда Волшебной ложбиной. Она находится в долине, под крутым подъемом за Pont Pelissier, и добраться до нее можно по извилистой тропинке, идущей вниз от вершины горы*; в сущности, это не настоящая долина, а широкая залежь мха и торфа, заканчивающаяся значительной пропастью (которую, однако, скрывают легкие ветви) по ту сторону Арвы. На конце ее возвышается почти отделенный каменистый мыс. Другая сторона ее окаймлена утесами, с которых небольшой водопад ниспадает буквально среди сосен; он рассыпается на солнце в жемчужный дождь и до того легок, что сосны не отличают его от тумана и растут себе, не беспокоемые его падением. Внизу — безмолвное, покрытое мохом пространство, а вверху — вечный снег на безымянном шпице.

Другие деревья поднимаются к небу точками и пучками, сосна же бахромой. Вы никогда

* Новая дорога в Шамуни проведена как раз по этой долине. Направо при подъеме водопад указывает место, о котором говорится в тексте, когда-то такое же уединенное, как Corrie-nan-shian.

не увидите ее вершин, до того они тонки, и потому, насколько мне известно, ни одно другое дерево не способно на те переливы огненного блеска, которые были замечены еще Шекспиром. Если солнце восходит за вершиной, увенчанной соснами, и вершина эта находится на расстоянии приблизительно двух миль и ясно видна, то все три или четыре ряда деревьев на солнечной стороне покажутся вам деревьями, полными света, ярким пламенем выступая на фоне темного неба и сверкая, как само солнце. Сначала я думал, что это зависит от действительного блеска листвы, теперь же я уверен, что это дело облачного тумана, покрывающего ее и превращающего каждую маленькую иглу в бриллиант. Кажется, будто эти деревья, живущие постоянно среди облаков, заимствовали и часть их славы, и даже пышная листва их может, по-видимому, только усилить дивный блеск самого солнца.

48. Швейцарец относительно своих гор, несомненно, не испытывает наших чувств. Утесы Ротслока, скорее как охраняющая кре-

пость, чем как чудное зрелище, властвуют над судьбой людей, живущих у их подножия. Горцы должны быть благодарны откосам Муотской долины за приобретение здоровых, легких и крепких ног гораздо больше, чем за приобретение возвышенных идей. Но здесь я хочу обратить внимание читателя на то, что пейзаж хотя, по-видимому, и производит впечатление на местных жителей, но это впечатление, во всяком случае, не похоже на испытываемое нами, когда мы вступаем в эту область. Ни их озера, ни утесы, ни ледники, которые хотя и являются характерной особенностью местности, не дали своего имени трем почтенным кантонам. Их назвали не скалистыми или озерными, а назвали лесными кантонами. И один из этих трех кантонов, сохранивший наиболее трогательное повествование о духовной силе швейцарской религии в названии «Горы ангелов», носит все-таки нежное детское имя «Под лесами» (Унтервальден).

И действительно, вы можете пройти под ними, если, оставив в стороне наиболее священное место в швейцарской истории — До-

лину трех фонтанов, вы попросите лодочника грести к югу вдоль берега залива Ури. Тут крутизны западной его стороны возвышаются стеной своих утесов к небесам. Далеко в синеве вечера, как обширный пол собора, расстилается темное озеро, и вы можете слышать шепот бесчисленных вод, ниспадающих с впадин скалы, напоминая тихий шепот толпы молящихся. Время от времени удар волны, медленно поднимающейся там, где скалы наклоняются к черной пропасти, грустно замирает, как последняя нота заупокойной молитвы. На противоположной стороне, покрытой зеленой, сочной травой и сельскими домиками, возвышается Фрон-Альп, в торжественном блеске идиллического света и мира, а выше, в полусвете облаков, как привидения над серою пропастью, стоят мириады за мириадами мрачные армии Унтервальденских сосен.

49. Была бурная погода, когда я выехал из Рима и над всей Кампаньой по фосфорисцирующей синеве неслись тучи; изредка раздавались удары грома, и отрывистые проблески

солнца вдоль водопровода Клавия освещали бесконечные его своды, словно мост хаоса.

Но когда я взбирался на крутизну Альбанской горы, буря окончательно пронеслась к северу, и благородные линии соборов Альбано, и приятный мрак ее остролистной рощи обрисовывались на фоне полос, голубых и янтарных, в то время как верхняя часть неба постепенно, сквозь последние остатки грозовой тучи, сливалась с глубоко трепещущей лазурью, полуэфирной и полуоблачной. Полуденное солнце, скользя вниз по скалистым откосам La Riccia, обливало своими лучами, словно дождем, их переплетшиеся массы высокой листвы, осенняя окраска которой смешивалась с влажной зеленью бесчисленных молодил. Я не решаюсь назвать это краской — это было просто пожарище. Пурпуровые, малиновые, багряные, как завесы божественной Скинии, эти радостные деревья спускались в долину ливнем света, причем каждый отдельный лист трепетал легкой, пламенеющей, сгорающей жизнью, стараясь отразить или передать солнечный закат, сперва напоминавший факел,

а затем изумруд. Вдали, в углублениях долины, зеленые просеки выдавались, словно гребни мощных волн кристаллически чистого моря, усеянные цветами толокнянки, обрызгивающими их берега, как бы пеной, и серебристыми хлопьями апельсинных деревьев, раскинувших свои ветви в воздухе кругом, пробиваясь сквозь расщелины серых скал мириадами отдельных звездочек, потухавших и зажигавшихся по мере того, как слабый ветерок подымал или нагибал их. Каждая былинка травы горела, как и золотистый свод неба, при каждом внезапном проблеске, в просветах листвы и снова потухала как молния, прорезывающая облака при закате солнца. Неподвижные массы мрачных скал, мрачных, хотя и испещренных багряными лишаями, отбрасывали свою мирную тень на мятежный лучезарный блеск, и фонтан внизу их наполнял свой мраморный водоем голубой мглою и жалобным, беспокойным ропотом; а надо всем этим бесчисленные каймы амбры и роз — священные облака, чуждые мрака и существующие только для того, чтобы все

освещать, — то появлялись среди торжественного покоя каменистых сосен, то исчезали, теряясь в последнем, белом, ослепительном блеске неизмеримой линии слияния Камланьи с пламенеющим морем.

50. Цветы. Цветы как будто предназначены для отрады простого человечества: дети любят их; тихие, довольные люди любят, когда они растут; богатые и беспечные люди находят удовольствие в том, чтобы собирать их; они ценятся, как сокровища, в деревенской избе, а в населенных городах отмечают как бы частицей радуги те окна рабочих, в сердцах которых покоится завет мира.

51. Немногие люди, однако, действительно дорожат цветами. Многие, правда, любят находить новые виды цветов и интересуются ими, как дети интересуются калейдоскопом. Многие также любят красивые выставки цветов в оранжереях, как любят хорошую сервировку стола. Многие находят научный интерес, но и то больше в номенклатуре их, чем в самих

цветах; и не многие восхищаются своими садами... В период цветения садов, который преимущественно бывает весной, я замечаю, что большинство общества предпочитает оставаться в городах. Год или два тому назад один из моих друзей, человек эксцентричный и умный, забрал себе в голову нарушить этот национальный обычай, решив отправиться весною в Тироль. Когда он проезжал по долине близь Landeceh с такими же, как и он, упрямыми товарищами, им вдали представилась странная гора, опоясанная голубым поясом, как английская королева. Голубое ли это облако или появившаяся снова голубая горизонтальная полоса в воздухе, которую Тициан открыл в юности и которую, может быть, никто больше никогда не увидит? Или это мираж, метеор? Останется ли он при приближении (между ним и подошвой горы было миль десять)? Вот вопросы, задававшиеся по поводу этого пояса. Один только мой умный друг утверждал, что это нечто вещественное. Что бы то ни было, но это не исчезнет, говорил он. Итак, экипаж был оставлен, десять миль пройдено, и путешественники

добрались до того места горы, где спокойно цвела еще более роскошная и яркая, чем казавшаяся издали, гряда горчанки. Такие вещи можно видеть действительно среди Альп весной, и только весной, и, несмотря на это, люди предпочитают путешествовать осенью.

52. Может быть, немногие люди задавали себе вопрос: почему они восхищаются розой больше, чем всеми другими цветами? Подумав, они найдут, во-первых, что красный цвет, определенной, нежной густоты, приятнее всех остальных чистых цветов и, во-вторых, что в розе все тени цветовые. Все ее тени отличаются лишь большей густотой той же окраски, как и светлые места, что происходит в силу прозрачности и силы отражения ее лепестков.

53. Задумывались ли вы когда-нибудь, читатель, над соотношением обыкновенных форм летучих веществ? Как малы, как многочисленны и как обильно выделяются беспрерывно в воздух невидимые частички, от которых зависит, напр., запах розового лепестка!

54. Едва ли во всей неорганической природе можно найти предмет более прекрасный, чем свежий сугроб снега при солнечном освещении. Его изгибы непостижимо совершенны и изменчивы; его поверхность и прозрачность одинаково изысканны; его свет и тени неисчерпаемо разнообразны и неподражаемо совершенны; тени тонки, бледны, небесного цвета; отраженные оттенки света густы, многочисленны и смешаны с восхитительными случайностями поглощенного света... Если мы в начале мая пройдемся по краю снегов более низких Альп, то найдем — и почти наверное всегда найдем — два или три небольших круглых отверстия в снегу и в них пробивающийся, тонкий, задумчивый, нежный цветок*, склонивший вниз свой маленький, темный ко-

* Soldanella Alpina. Мне кажется, что это единственный альпийский цветок, который, собственно говоря, пробивается сквозь снег, хотя мне приходилось видеть горчанку на растаявших следах от копыт. Крокусам нужны один или два солнечных дня, soldanella же украшает сначала альпийский снег, а потом уже поля. Я видел целые поляны их, имевшие вид широкого, лилового, шелкового одеяния.

локольчик с красной каемкой, дрожащий над ледяной, только что пробитой им расщелиной, отчасти от удивления при виде своей недавней могилы, отчасти от смертельной усталости после победы, доставшейся ему с таким трудом. И при виде этого цветка нас будет волновать — или нас должно волновать — совершенно иное, приятное чувство, чем при виде мертвого льда и безмятежных облаков. Тут уже мы слышим призыв к симпатии, видим картину нравственной цели и выполнения, и, хотя все это исходит от существ не сознающих и не чувствующих, но не может, однако, не пробуждать чувства любви и благоговения в чистом сердце и в ясном, просвещенном уме.

55. Доктор Горборт ясно доказал, что многие растения только одни и встречаются в диком состоянии при известной почве или подпочве не потому, что эта почва очень благоприятна для них, но вследствие того, что только эти растения могут жить на ней и что все опасные соперники удалились, благодаря

ее негостеприимству. Если мы, взяв такое растение из условий, с трудом выносимых им, снабдим его землею и благоприятной для него температурой, удалив в то же время от него всех соперников, которыми природа при подобном условии не замедлила бы наделить его, то мы, несомненно, получим превосходно развитый экземпляр, громадного роста и роскошной организации; но мы окончательно лишим его того нравственного значения, которое требует от него добросовестного выполнения предназначенных ему функций. Это растение было преднамеренно создано Богом, чтобы украшать те пустынные места, на которых ни одно другое растение жить не может. Оно было наделено ради этого мужеством, силой и выносливостью; следовательно, его назначение и слава заключаются не в обжорстве и не в праздном откармливанье себя, ради развития своей красоты на счет других существ, окончательно погубленных и с корнем вырванных, ради его исключительного блага; нет, его назначение состоит в добросовестном исполнении тяжелой обязан-

ности, в упорном старании забраться в те безнадежные места, где оно одно может свидетельствовать о благости и присутствии Духа, Который высекает реки среди камней и покрывает долины зерновым хлебом; и здесь, и только здесь на подходящем для него месте, где ничто не искореняется ради него, где оно ничему не может повредить, где ничто не может ни содействовать его подвигу, ни лишить его престола, оно только и проявляет свою силу, красоту, ценность и доброту, которые, при этих условиях, в глазах Бога, действительно имеют некоторую заслугу. Soldanella Alpina, о которой выше упомянуто, я, прежде всего, увидал роскошно растущей и достигшей значительного роста на альпийском пастбище, залитом солнцем, среди блеющих овец и мычащих коров, вместе с цветущими Geum Montanum и Ranunculus Pyrenaeus. Тогда я обратил на нее внимание только как на новинку и не нашел в ее цветке ничего особенно хорошего. Несколько дней спустя я встретил ее одинокую в полосе тумана высоких облаков и завывания холодного

ветра, и, как я уже сказал, пробившуюся на краю бывшего обвала, который оставил после себя новую, черную, безжизненную почву, как бы выжженную недавним огнем. Это было жалкое, слабое растеньице, видимо истощенное необычайными усилиями, и я тут только понял его идеальный характер, увидал его благородную функцию и степень его славы в ряду величественных явлений земного шара.

56. Травы. Мелкие, зернистые пушистые или перистые околоплодники сливаются своими грациозными коричневыми точками и трепещущими, как пыль, пляшущими семечками с красою соседних полей, далеко кругом разбрасывая по их поверхности тонкую седину и нежность перистого тумана, всегда таинственного, не только при утренней росе или при полуденном мираже, но и при дрожащей паутине тонких, нежных, древовидных узоров на камне, представляя каждый маленькую колокольню из семечек, а все — стройный подбор колоколов.

57. Сорвите простую былинку травы и вглядитесь с минуту попристальнее в этот узкий, саблевидный, зеленый стебелек, выточенный на подобие желобка. Ничего, по-видимому, нет в нем ни хорошего, ни красивого. Он не особенно крепок, довольно мал, несколько тонких длинных линий сливаются в нем в одной точке — далеко не совершенной, довольно неясной и незаконченной, отнюдь не представляющей образца тех художественных произведений природы, о которых она сильно заботится; и создана, по-видимому, эта былинка только для того, чтобы ее бледный пустой стебелек, слабый и мягкий, переходящий незаметно в печальные коричневые прожилки корней, был затоптан сегодня ногами, а завтра брошен в печь. Однако подумайте хорошенько и рассудите, какой из всех пышных цветов, благоухающих в летнем воздухе, какое из всех могучих и красивых деревьев, чарующих зрение и услаждающих вкус, будь то величественная пальма или сосна, высокая ясень или крепкий дуб, душистое лимонное дерево или обремененная плодами виноградная лоза, —

какое из них, повторяю, так сильно любимо людьми и так высоко чтимо Богом, как эта нежная, слабая, зеленая травка. И честно, и хорошо выполняет она свое назначение. Подумайте, чем только мы ни обязаны луговой траве, мягкими, бесчисленными, безмятежными стебельками, покрывающей темную почву, словно пестрым ковром. Далее! Проследите далее смысл того значения, какое мы придаем этому слову. В нем все дышит весной и летом: прогулки по уединенным благоухающим тропинкам, отдых во время полуденной жары, радость табунов и стад, мощь пастушеской и созерцательной жизни, жизни солнца, освещающего мир то изумрудными полосами, то нежными голубыми тенями там, где без этих былинок оно ударяло бы лишь о темный чернозем или об спаленную пыль. Пастбища вдоль ручейков, нежные валы и пригорки невысоких холмов, благоухающие откосы плоских возвышенностей, с которых открывается вид на синюю полосу моря, на извилистые поляны, то тусклые при утренней росе, то ясные при вечернем солнечном освещении, на поля-

ны, помятые ногами счастливцев и смягчающие звук любящих голосов, — да, все это и многое другое вмещается в этом простом слове. Мы не можем вполне измерить всего величия этого небесного дара в нашей собственной стране, хотя, чем больше мы вдумываемся, тем яснее становится для нас бесконечная прелесть лугов, этой лучшей отрады Шекспира. Но это, повторяю, не все. Пройдитесь весной по лугам Швейцарии, расстилающимся от берегов ее озер до подножия ее более низках гор. Здесь, переплетаясь с высокими горчанками и белыми нарциссами, густо и свободно растет трава; и по мере того, как вы идете по извилистым горным тропинкам под дугообразными ветвями, усеянными цветом, идете по тропинкам, которые — вплоть до синих вод — вечно то опускаются, то подымаются волнами благоухающими от кое-где собранных куч только что скошенной травы, наполняющей весь воздух томной сладостью своего дивного аромата, взгляните наверх, на более высокие горы, где волны вечной зелени молча катятся длинными изгибами среди тени, отбрасываемой соснами,

и тогда вы, может быть, наконец, поймете значение мирных слов 146-го псалма: «Он произращает на горах траву».

Соединив все картины, набросанные нами, и прибавив самую простую, встречаемую в 6-м стихе 40-й главы пророка Исаии, мы найдем, что трава и цветы представляют образ переходящей человеческой жизни мимолетностью своего существования, а ее величие — своим величием, и последнее в двух различных отношениях: во-первых, своим благотворным влиянием и, во-вторых, своей выносливостью: трава земная, порождая семена зернового хлеба и ее красу там, где ступает нога и ударяет коса, и трава водяная, давая прохладу для нашего покоя и склоняясь перед волной. Но понимаемая в широком человеческом и божественном смысле, «трава, сеющая семя», в противоположность дереву, приносящему плод, заключает в себе третий род растений и выполняет третью услугу по отношению к человеческому роду. Она заключает в себе обширную семью прядильных растений и удовлетворяет, таким образом, всем трем

потребностям человека: в пищи, одежде и жилище, или в месте покоя. Проследите удовлетворение этой потребности: рассмотрите связь льняного одеяния и льняных вышивок с священническим служением и украшениями Скинии и то, как камыш во все времена был первым естественным ковром, подстилаемым под ноги людей. Затем рассмотрите три достоинства, решительно представляемые тремя семействами растения, непроизвольно или фантастично приписываемые им, но во всех трех случаях резво отмеченные для нас в словах Священного Писания. 1. Отрада или радостная прелесть травы, служащей нищей и красой — «посмотрите на полевые лилии, как они растут: не трудятся, ни прядут». 2. Смирение в траве, служащей для покоя — «трости надломленной не переломит» 3. Любви в траве, служащей для одежды (в силу ее способности легко воспламеняться) — «и льна курящего не угасит». И в заключение рассмотрите подтверждение двух последних образов в самом, по моему мнению, важном пророчестве относительно будущего состояния хри-

стианской Церкви из всех встречающихся в Ветхом Завете, а именно прочтите заключительные главы пророка Иезекииля. Берутся размеры храма Божьего, а так как размеры эти могут вечно определяться только великодушием и смирением, то у Ангела «льняная вервь в руке его и трость измерения»: льняная вервь — для измерения земли, трость — для измерения зданий; так, здания церкви или употребляемый труд измеряется смирением, а область церкви или величина — любовью.

58. Неподвижные листья. Мощные сосны развеваются над ними, и слабые былинки колышутся рядом, но синие звезды покоятся на земле в небесном покое, и далеко по хребтам железных скал, неподвижные, как и они, яхонтовые гребни альпийских роз переливаются при блеске низких утренних лучей.

59. Мхи. Нежные создания! Первые милосердные дары земли, прикрывающие своей молчаливой нежной зеленью наготу монотон-

ных скал! Создания, полные жалости, придающие несчастным развалинам благородство их чудных и нежных очертаний, прикасающиеся тихими перстами к старым колеблющимся камням, научая их покою! Я не нахожу слов, которые дали бы ясное понятие об этих мхах, слов, достаточно нежных, красноречивых и богатых. Как описать их густую яркую зелень, их звездочки, блестящие как рубины, их разрезы, до того тонкие, что кажется, будто духи скал ткут их так же причудливо из порфира, как мы отливаем из стекла; серебристые переплетенные сети их янтарных кружев лоснятся и, словно деревца, растут, с темными прожилками, с шелковистой, разнообразной, блестящей и прихотливой вышивкой, причем сами они остаются вечно спокойными, сосредоточенными и как бы созданными только для самых нежных и простых дел милосердия. Вы их не изберете для гирлянд и залогов любви, но дикая птица воспользуется ими для своего гнезда и усталый ребенок для своего изголовья. И этот первый милосердный дар земли есть вместе с тем и последний

ее дар. Когда нам уже не нужны все остальные деревья и растения, нежные мхи и серые лишаи начинают сторожить наши могилы. Леса, цветы, травы со своими дарами оказывали нам временную услугу, но мхи выполняют свою задачу вечно. Деревья служат лесами для строителей, зерна наполняют амбары, цветы украшают комнаты новобрачных, а мох прикрывает наши могилы.

60. Лишаи. В одном отношении, они самые скромные, а в другом самые почетные дети земли. Они так же неувядаемы, как и неподвижны; червь их не подтачивает, и осень не оголяет. Мощные в своей миловидности, они не увядают от жары и не гибнут от мороза. Им, с их нежными перстами и постоянством сердца, им, с их тонкими полосками, окрашенными радугой нежных очертаний их бесконечного разнообразия, вверено плетение скромных вечных убранств, украшающих скалы. Разделяя безмолвие бесстрастных скал, они разделяют и их выносливость, и в то время как ветер наступающей весны развевает

белый цвет боярышника, словно гонимый вешний снег, и лето омрачает на спаленных лугах поникшие золотистые тычинки первинок, там, наверху, среди гор, серебристые пятна лишаев остаются нетронутыми, словно звезды на камнях; и наросшие оранжевые лишаи на боках западных вершин отражают закаты солнца в течение тысячелетий.

ОТДЕЛ VIII

Воспитание

61. Самое полезное и самое священное, что можно в настоящее время сделать для человечества, это научить людей (главным образом, примером, как лучшим способом обучения) не тому как «улучшать себя», а как «удовлетворять себя». Есть и не насыщаться — проклятие, тяготеющее над всякой злой природой и над всякой злой тварью. Слова же благословения состоят в том, чтобы есть и насыщаться; и как есть один род воды, утоляющий всякую жажду, так есть и один род хлеба, утоляющий всякий голод — хлеб справедливости или правды. Алчущий этого хлеба насыщается, так как это хлеб небесный; алчущий же хлеба неправды не насыщается, потому что это хлеб Содома. Для того же, чтобы передать

людям умение быть довольными, нужно вполне понимать искусство радости и скромной жизни: это необходимейшее в настоящее время из всех наук и искусств. Скромная жизнь чужда стремлений к излишествам и довольствуется радостной уверенностью, что в будущем не будет перемен к худшему. Она исключает не предусмотрительность, а только преждевременную скорбь и тревогу за завтрашний день, исключает не принятие мер предосторожности, а жажду накопления. Скромная жизнь значит жизнь, полная семейной любви и семейного мира, отзывчивая на все даровые и приятные удовольствия, а потому главным образом на удовольствия, доставляемые жизнью среди природы.

62. Мы должны признать, что любовь к природе, где бы она ни существовала, была всегда источником веры и священным элементом чувства, иначе говоря, если два человека во всех других отношениях живут при одних и тех же условиях, то тот из них, который больше любит природу, всегда окажется более

способным веровать в Бога. Почитание природы вносит такое ощущение присутствия и могущества Великого Духа, к какому не приведет и которого не опровергнет никакое рассуждение; и там, где это поклонение природе совершается безвредно, т. е. должным образом сообразуется с другими требованиями времени, чувств и деятельности, и соединено с высшими религиозными принципами, там оно становится проводником известных религиозных истин, недоступных каким-либо другим путем.

63. Вместо того чтобы видеть в любви к природе неизбежную связь с неверием известного века, я думаю, что она, собственно, связана с его милосердием и свободой*, что это именно самый здоровый из всех свой-

* Я теперь позабыл, что подразумевал в этой фразе под словом «свобода», но в моих первых сочинениях я часто употреблял это слово в хорошем смысле, думая об экскурсиях Скотта по болотам и о тому подобном. Мне кажутся теперь удивительными мои прежние надежды, но тогда жив был Тернер, солнце сияло, и реки сверкали...

ственных нам элементов, и из него, если он будет долее вырабатываться не в легкомыслие и невежество, а в серьезный долг, может получиться результат непостижимой в настоящее время важности, может зажечься свет, который в первый раз за все время исторической жизни человечества, раскроет перед ним истинный смысл его жизни, истинное поприще для его энергии и истинное отношение между ним и его Творцом.

64. Для человека, любящего природу, спокойная прогулка пешком, не более как за десять или двенадцать миль, является самым интересным из всех путешествий; и все путешествия становятся тем скучнее, чем быстрее они совершаются.

Переезд по железной дороге я совсем не считаю путешествием; это простое перемещение, очень похожее на перемещение тюков.

65. Я думаю, что люди высшего класса много выиграли бы и в отношении здоровья и в отношении счастья, если бы настойчиво по-

старались извлечь определенную пользу из той физической энергии, которая теперь расходуется ими на удовольствия. Было бы гораздо лучше, например, если бы джентльмены косили свои луга, а не топтали чужие, разъезжая по ним.

66. Для того чтобы определить самое прекрасное, вы должны восхищаться прекрасным, а я не знаю, многие ли способны на это. Раньше я с удовольствием говорил о красивых вещах, надеясь быть понятым, теперь же я уже не могу, так как, по-видимому, никто на них не смотрит. Где бы я ни путешествовал, в Англии ли или за границей, и что бы ни осматривал, я всегда видел, что люди губят все красивое, до чего могут только добраться. У них, по-видимому, есть одно только желание, одно стремление — иметь большие дома и возможность быстро передвигаться. Они оскверняют все чудные, привлекательные места, с которыми приходят в соприкосновение. Таким образом, железнодорожный мост над Шафгаузенским водопадом и рельсовый путь

по Кларенскому берегу Женевского озера уничтожали прелесть таких двух видов, которых уже ничто и никогда не заменит в отношении их влияния на высшие свойства духа европейцев.

67. Я вспоминаю как первое событие в жизни тот случай, когда няня внесла меня на вершину скалы Фриара у озера Дервента. Сильная радость, смешанная с благоговением, которую я испытывал, когда смотрел на темное озеро сквозь отверстия в мшистых корнях, вросших в утесы, пробуждалась с тех пор более или менее сильно во мне каждый раз при виде раздвоенного древесного корня. Два других случая, о которых я вспоминаю как о событиях, положивших начало моей жизни, был переезд через Шанские каменистые горы, когда мне позволили выйти из экипажа и взбежать на холмы, и путешествие до Гленфарга, близ Кинросса, в зимнее утро, когда с утесов свешивались ледяные сосульки; это были крайние пределы моих путешествий в ранние годы и более того, что

обыкновенно допускается детям. Во время подобных путешествий, когда мне приходилось бывать вблизи гор или вообще в горной местности, я с тех пор, как помню себя, испытывал всегда удовольствие, которое продолжал испытывать и в восемнадцать и в двадцать лет, удовольствие гораздо большее, чем могло вызвать во мне что-либо другое, доступное мне с тех пор.

68. Глупому нужно всегда сокращать пространство и время, а человек разумный желает только их удлинить. Безумец желает убить пространство и время, а мудрец хочет сначала выиграть, а затем оживить их.

69. Сомневаюсь, чтобы творцы различных систем вообще далеко отступали каждый в своей области, от способа, употребляемого старухами в Памоне, которые нанизывают вишни на палочки для большого удобства переноски их. Выбирать и разводить хорошие вишни имеет известное значение, но если их можно иметь обычным первона-

чальным способом, как они растут кистями на своих сучковатых ветвях, то это лучший способ из всех существующих, а если нельзя, то, по крайней мере, нужно переносить так, чтобы они не мялись; для практичного мальчика безразлично, получит ли он их пригоршнями или симметрично нанизанными на палочки.

70. Каждому великому человеку всегда все помогают, потому что он обладает даром извлекать из всего и изо всех что-нибудь хорошее.

71. Бог предназначает каждому из Его созданий особую задачу, и если оно выполняет ее честно, как подобает человеку и с полной верою, руководясь светом, зажженным в нем, устраняя всякое охлаждающее и ослабляющее влияние, то, наверное, свет этот загорится в нем таким пламенем, которое — в известной степени и в известном виде — засияет перед людьми, постоянно и свято служа им. Различные степени блеска должны всегда су-

ществовать, но и самый жалкий из нас обладает все-таки каким-нибудь даром, и как бы этот дар ни был, по-видимому, зауряден, но, составляя нашу особенность, он может при правильном применении стать даром для всего человечества.

72. Нет ни вещества, ни духа, ни существа, которое не было бы способно к некоторого рода единению с другими. В этом единении — источник совершенствования и наслаждения вследствие присутствия других. Так, единение душ заключается, отчасти, в их симпатии, отчасти, в их возможности получать и отдавать, т. е. всегда в любви; и в этом их радость и сила, потому что сила дается совместной работой и товариществом, а радость заключается как во взаимном и постоянном обмене всем хорошим, так и в неизбежной зависимости от взаимного существования и в существенной и полной зависимости от Творца. Итак, в единении земных существ заключается их сила, их покой; не мертвый, холодный покой невозмутимых

камней и одиноких гор, а живой покой доверия, живая сила поддержки существ, идущих рука об руку*.

73. Отрадно читать о доброте и смирении св. Франциска Ассизского, который и с птицами, и с цикадами и даже с волками и хищными зверями говорил всегда как с братьями. Те же самые душевные чувства всех добрых и сильных людей мы находим в «Моряке» Кольриджа и в следующей, еще более истинной и правдивой мысли, выраженной в «Hartleap Well»: «Никогда не следует примешивать к нашим удовольствиям или к нашему тщеславию скорбь хотя бы самого низшего из чувствующих существ».

То же и в «Белой Лани» Райльстона, с добавлением поучения относительно того, что наша собственная «скорбь облегчается и уничтожается симпатией как к самым выс-

* Длинное, напыщенное и темное изречение из второго тома, написанное в подражание Гукеру. Краткое изречение в книге Екклесиаста вполне передает его содержание. «Одному, как согреться?»

шим, так и к самым низшим существам; так что даже для умозрительной нашей способности, не говоря уже о христианских свойствах характера и человеческого разума, нет ничего пагубнее тех проклятых спортов, в которых человек* по своей жестокости становится одновременно кошкой, тигром, леопардом и аллигатором и пользуется для своего удовольствия с беспрерывной жестокостью теми уловками, которые звери употребляют относительно других умеренно, с промежутками и только в случаях крайней необходимости.

74. Тот, кто не любит ни Бога, ни своих ближних, не может любить ни травы под своими ногами, ни существ, живущих не для его пользы и наполняющих не нужное ему про-

* Я все более опечален, перечитывая эти и другие отрывки наиболее искусственной и слабой из всех моих книг (написанной в незрелый еще период моей жизни), т. е. из второго тома «Современных живописцев», отличающегося болезненным пылом страсти и узостью мысли. Но по своей искренности книга эта была так же честна, как и все остальные, и по существу вполне хороша, только вся вспенившаяся до хлопьев.

странство в мире; но, с другой стороны, никто не может любить ни Бога, ни братьев своих — людей, не любя всего, что любит Отец, и не считая всех братьями, может быть, даже более достойными, чем он сам, если та часть обязанностей, которая возложена на них, выполняется им более честно*.

75. Беспристрастные люди всегда могут составить себе правильное понятие о вещах, но не *полное*. Никакая человеческая способность не может охватить всего предмета, но чем дольше мы наблюдаем, тем все яснее он становится для нас. Каждый индивидуальный характер будет находить в нем какую-нибудь особенность, но если предположить все характеры честными, то в этом только и будет разница. Каждый шаг вперед в нашей способ-

* Опять болезненное францисканство! Я, право, принужден выпустить одно место, одобренное моим другом как женщиной благосклонной и доверчивой. В нем говорится о том, что все приводит к добру и пригодно для какой-нибудь благой цели. Нам нет дела до конечных целей вещей, а только важно их существование, которое часто бывает положительно дурно.

ности понимания покажет нам нечто новое; но прежнее, первое впечатление, полученное от предмета, останется не нарушенным, а только видоизмененным и обогащенным новыми понятиями, которые будут достигать все большей прелести по своей гармоничности и все больше и больше признаваться частью бесконечной истины.

ОТДЕЛ IX

Нравственные правила

76. Читая, что «Закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли чрез Иисуса Христа», следует ли предполагать, что здесь разумеется, будто закон не милосерден и не истинен? Закон был дан, как основание, а благодать, милосердие и истина, как восполнение, составляя вместе одну величественную Троицу суда, милости и истины*. И если бы

* Та значительная доля надменности и узости, которая, как результат моего воспитания в английских школах, вызывает в настоящее время во мне чувство стыда и скорби, когда я перечитываю «Современных живописцев», искуплена в настоящее время точным мышлением, проложившим мне путь к выраженной в этом параграфе великой истине, на уяснение и утверждение которой были направлены все, без исключения, мои позднейшие сочинения.

люди читали Библию без предвзятого мнения, а с сердечным желанием понять ее, то они увидали бы, что во всех местах, которым они придают наиболее личный характер, в псалмах, например, всюду особенно радостно прославляется закон. По отношению к милости, в псалмах часто проявляется грусть, например, при мысли, какою ценою она приобретается, но по отношению к закону псалмы всегда преисполнены восторга. Давид не может удержаться от радости при мысли о нем; он никогда не устает восхвалять его: «Как люблю я закон Твой! весь день размышляю о нем. Как сладки гортани моей слова Твои! лучше меда устам моим».

77. Мне кажется, нет ни одного события в жизни Христа, к которому люди, в часы сомнения и страха, обращались бы с такой жгучей жаждой проникнуть в тайну фактов, как к событию явления Иисуса ученикам при море Тивериадском; ни на чем другом люди не останавливались с таким страстным вниманием, изучая каждое слово передаваемого со-

бытия. В этом явлении есть нечто в высшей степени важное, естественное, поражающее наше неверие. Другие явления после Воскресения, о которых повествует Евангелие, были внезапны, подобны видениям, представлявшимся людям глубоко скорбящим, измученным душевными волнениями, не способным, по-видимому, здраво судить о том, что они видели. Теперь же волнение улеглось. Апостолы вернулись к своим обычным занятиям, думая все еще, что их дело состоит в закидывании сетей и в ловле рыбы. Симон Петр говорит: «Иду ловить рыбу». — «Идем и мы с тобою», — сказали другие. Правдивые слова, повторяющиеся далеко за пределами галилейских гор. В эту ночь они ничего не поймали; но на рассвете увидали человека, стоявшего на берегу. Думая исключительно только о своей неудавшейся ловле, они не узнали Его. Он же просто спросил их, поймали ли они что-нибудь. «Нет», — отвечали ему, и Он велел им снова закинуть сеть. Иоанн, рукою заслонив глаза от утреннего солнца, стал вглядываться в стоявшего и, несмотря на

ослепительный блеск моря, узнал Его наконец; и бедный Петр, не желая терять времени, надел рыбацкую одежду и бросился в море. Стоявший, наверно, порадовался, видя как Петр проплыл саженей сто и, достигнув берега, пал к Его ногам. И другие доплыли до берега, но тем медленным путем, каким, вообще, в этом мире добираются люди до своей настоящей пристани, сильно задерживаемые необходимостью тащить за собой невод с рыбою. И вот, все семеро наконец добрались до берега, прежде всех — отрекавшийся, потом — с трудом уверовавший, затем — быстро уверовавший, двое домогавшиеся престола и, наконец, еще двое, имена которых неизвестны нам.

Они сели на берег лицом к Нему и ели, по Его желанию, зажаренную Им рыбу. И тут, к промокшему, дрожавшему, пораженному изумлением Петру, не спускавшему глаз с Христа, сидевшего по другую сторону костра, к Петру, может быть, думавшему о том, что случилось у другого костра, когда было еще холоднее, и не обменявшемуся ни одним словом

с Учителем, к нему, взволнованному, был обращен вопрос Христа: «Симон, любишь ли ты меня?» Попытайтесь прочувствовать это немногое и вдуматься так, чтобы это стало для вас истиной, и тогда обратите внимание на уродливость и лицемерие рафаэлевской картины о возложении первосвященнической обязанности на Петра. Заметьте, прежде всего, дерзкую ложь с целью поддержать папскую ересь о главенстве Петра, а именно: помещение *всех* апостолов на переднем плане во время полномочий, получаемых Петром, делая их тем, как бы свидетелями этого полномочия. Заметьте изящно завитые волосы и тщательно завязанные сандалии у людей, проведших ночь среди морского тумана, в лодке, устланной тиной; обратите внимание на их одежду, вполне непригодную для рыболовства, с аршинными шлейфами, влачащимися по земле, и с красивой бахромой, так мало приспособленной к рыболовному костюму апостолов. Взгляните, как, главным образом, Петр (честь и слава которого в его мокром, приставшем к телу платье и босых ногах) задрапирован

в складки и бахрому, чтобы с грацией преклонить колена и держать свои ключи. На картине нет ни костров, ни уединенного горного берега, а изображен оживленный итальянский ландшафт с виллами, церквами и стадом овец, на которых Он мог бы указать; группа апостолов не расположена вокруг Христа, как было бы естественно, а выстроена вся в одну линию, чтобы каждый был виден. Очень понятно, что при взгляде на картину мы чувствуем, как утрачивается наша вера в правдоподобность события. Тут видна положительная невозможность существования этой группы в каком бы то ни было месте и при каких бы то ни было обстоятельствах. Это просто мистическая нелепость, как и бледное изображение бахромы, мускулистых рук и завитых голов греческих философов.

78. Среди сынов Божьих всегда существует чувство благоговейного преклонения перед Его величием и священная боязнь оскорбить Его; чувство это называется Страхом Божьим, хотя действительного, существенного страха

тут совсем нет, а есть только сильное доверие к Богу, как к своей опоре, как к своему Защитнику и Спасителю, та совершенная любовь, при которой исчезает всякий страх. Душа, истинно преданная Богу, не может бояться чего-нибудь земного или сверхъестественного. Самой грозной кажется высота Его могущества, и наименьший страх чувствуется под сенью Его: «Кого я убоюся?»

79. Меньше было бы людей глухих к добру и восседающих на торжищах, если б упреки, делаемые людям за их пороки, мы заменили обращением к их человеческому сердцу, если бы, вместо того чтобы настаивать на исполнении повелений Бога, мы раскрывали бы перед людьми всю благость, расточаемую Им; если бы рядом с каждым сообщением о смерти мы выставляли бы на вид доказательства и обещания бессмертия; если бы, наконец, вместо того чтобы утверждать существование грозного Божества, которого люди всегда не желают и иногда не способны ясно представить себе, хотя не могут и не дерзают отрицать Его бы-

тия; если бы вместо этого мы показали им близкое, видимое, вездесущее, но полное благости Божество, присутствие которого самую землю превращает в небо.

80. Нельзя словами объяснить того, какими божественными чертами, каким божественным светом озаряются суровые и холодные черты лица под влиянием деятельной набожности и деятельного милосердия и как, при отсутствии их, даже красивые лица заволакиваются мраком. Действительно, нет ни одной добродетели, мимолетное проявление которой не оставляло бы нового следа красоты на лице человека.

81. Любовь человеческого рода увеличивается, благодаря индивидуальным различиям; каждая отдельная личность совершенствуется, потому что имеет возможность и давать и получать что-нибудь и, таким образом, быть связанной с другими цепью различных нужд и услуг; смирение заставляет человека радостно восхищаться, находя в ближнем то, чего

ему самому недостает, так что каждое существо, в некотором отношении, как бы пополняет человечество.

82. Даже и являющихся ангелами нельзя представить себе до такой степени одинаковыми, чтобы различие их жизненного поприща и земных привязанностей были ими забыты и не имели для них никакого значения. Нельзя представить себе, чтобы рано умерший ребенок обладал той же плотью и теми же мыслями, как и прославленный апостол, прошедший свой путь до конца и пострадавший за свою веру. Итак, какими бы совершенствами, какими бы сокровищами любви мы ни наделяли людей дорогих и увенчанных ореолом мученичества, все же и они, подобно звездам, разнятся в славе, разнятся своими природными дарами, хотя и не отмеченными до второго пришествия, разнятся своими испытаниями и жребием, своими горестями и поддержкой, находимой ими как в собственной стойкости сердца, так и во внешнем мире, прикрывала ли их тень смоковницы или пали-

ло солнце, призваны ли они были выносить дневной жар в одиннадцатом часу в доме, не осененном верой, или облака вещали им откровение. Словом, тут и между ними различие предостережений, милосердия, благости, болезней, предвещаний времени, призыва к отчету. Они равны только в том, что не их и что даровано им неизменной Божественной благостью, гласящей: «Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе».

83. Желание покоя, присущее сердцу, не чувственно и не низко; это страстное желание обновления, желание избежать того состояния, каждая ступень которого есть простое приготовление к переходу от временного к такому же временному, желание обрести неизменный покой, достижимый только путем совершенства. Отсюда великий призыв, обращенный Христом к людям и признаваемый св. Августином за самое существенное выражение надежды христианина, сопровождается обещанием покоя. Смерть, завещанная людям Христом, есть мир.

84. Кто хотя однажды стоял у могилы и размышлял о дружбе, навсегда похороненной, чувствуя, как и сильная любовь, и острая печаль бессильны дать даже минутную отраду сердцу, переставшему биться, или отчасти воздать отошедшей душе за пережитые ею дни горести и оскорбления, того и в будущем едва ли не будет тяготить этот долг сердцу, который он может воздать только праху. Но уроки, почерпаемые отдельными лицами, проходят бесследно для целых наций. Снова и снова видят они, как их самые благородные покойники сходят в могилу, и считают достаточным украшать венками надгробные плиты тех, чье чело осталось не увенчанным, считают достаточным оказывать праху те почести, которые они не воздавали живому духу. Пусть люди не оскорбляются, что, среди суеты и блеска их деятельной жизни, им повелено прислушиваться к немногим голосам и приглядываться к немногим светочам, которым Бог дал дар слова и которых возжег, чтобы очаровывать и руководить, дабы народы могли познать их сладость не в молчании и их свет не тогда, когда он погаснет.

85. В луккском соборе, близ входной двери северного трансепта, находится памятник Иларии ди Каретто, жены Паоло Гуиниджи, сделанный Джакопо де а Кверция. Я указываю на него не как на самый красивый или самый совершенный образец данного периода, но как на пример точной и верной середины между строгостью и суровостью древних монументальных статуй и болезненным подражанием жизни, сну или смерти, вошедшим в обычай в новейшее время. Она лежит на простом ложе, с собакой в ногах, лежит не на боку, а на спине с головой, покоящейся на твердой подушке, на которой, заметьте, нет и следа обманчивого подражания вдавленной от оттиска головы. Можно понять, что это — подушка, но нельзя принять ее за настоящую. Волосы обвиты плоской косой над прекрасным лбом. Кроткие, окаймленные бровями, глаза закрыты; нежность любящих губ неподвижна и спокойна; в них есть нечто, как будто мешающее дыханию; это не смерть и не сон, а чистый образ того и другого. Руки не воздеты для молитвы и не согнуты, но лежат во всю

длину на теле, и кисти их скрещены. Ноги скрыты под покровом, и отпечатлевается только их форма.

86. Я не знаю местности, которая бы имела более чистый и более безукоризненно полный горный характер (гор высшего разряда) или которая казалась бы менее поврежденной посторонним влиянием, чем область, окаймляющая течение Триента между Валорзиной и Мартиньи. Тропинки, ведущие к ней из долины Роны, извиваясь сначала крутым круговым подъемом среди орешника, подобно винтовой лестнице среди колонн готической башни, на высоте холмов переходят в долину, почти неизвестную, но густо населенную трудолюбивым и выносливым народом. Вдоль горных вершин, сглаженных старыми ледниками в длинные, темные, волнистые выпуклости, похожие на спины ныряющих дельфинов, крестьянин высматривает местечки, покрытые бледно-окрашенным мхом и корнями трав, которые, мало-помалу, образуют тощую почву поверх железняка; потом, задерживая

узкие склоны этой скудной землицы камешками, он обрабатывает их заступом, и через год или два уже можно видеть, как на каменистой каске развеваются небольшие султаны из стеблей зернового хлеба. Неправильные лужайки раскинуты там и сям по этим скалам, уже приносящим урожай, и освежаются беспрерывными ручьями, которые, как будто находя удовольствие в прыжках, всегда выбирают себе крутизны, чтобы скатиться вниз и полными горстями усыпать свой путь кристаллами, когда ветер разносит их с полной грацией фонтанов, но без их формализма; разъединяясь и фантастически изменяясь при толчках и прыжках, но все же сохраняя свои гранитные русла, подобно тому, как легкая игривость человеческой речи сохраняет следы прежней работы, они, рассыпавшись брызгами, смыкаются снова, чтобы омыть суровые углы и осветить серебристой бахромой и зеркальным покровом постепенно спускающиеся ступени песчаника, и, в конце концов, собираются вместе, за исключением, может быть, некоторых случайных капель, упавших на цвет ябло-

ни, распустившейся немного ближе каскада, чем предыдущей весной,— собираются вместе и, прокладывая себе путь вниз к мураве, бесшумно теряются в ней. Пробираясь спокойным, светлым потоком среди травы, ручейки эти кажутся только ее тенью, но вскоре они появляются опять и бегут торопясь и волнуясь, как бы вдруг вспомнив, что день короток, что нужно спешить достигнуть холма. Зеленое поле, раскаленный камень и блестящий ручеек спускаются при солнечном сиянии к верхушкам оврагов, где сосны наполняют свое царство унылою тенью и где более могучие потоки с неумолкаемым шумом несутся в полутьме вниз, наполняя пучины чудной прохладой, разбиваясь о громадные камни, ими же самими сброшенные вниз, и с бешенством пробивая себе путь под их страшною тяжестью. Горные тропинки спускаются в эти низины вилообразными зигзагами, ведущими к серым узким сводам, изгибы которых окаймлены папоротниками, боящимися света. Грубо вытесанный сосновый крест, связанный железными полосами, мрачно противится

угрюмой ярости ценящегося потока. Когда мы остановились отдохнуть у креста, то там, вдали, в нежные просветы между группами сосен, виднелось яркое небо, и на его светлом, добела раскаленном, фоне вершины скалистых гор вырезывались величественными венцами и кругами, величавые в своем томном безмолвии, отдаваясь во власть солнечного сияния, в котором так много глубокой грусти, полной как силы, так и изменчивости теней; безжизненные, как стены склепа, но все же прекрасные с своими ниспадающими малиновыми складками, напоминающими покрывало какого-нибудь морского духа, который живет и умирает, как брызги пены; укрепленные на вечном престоле, не поддаваясь никакой силе, превыше всякого горя, они, в то же время, сглаживаются и совершенно расплываются в воздухе под влиянием последнего солнечного луча, упавшего на них из просвета между двух золотистых облаков.

Превыше всякого горя? Да, но знакомые с ним. Путешественник во время удачного странствования, спускаясь с густой муравы

и весело спотыкаясь о булыжник, лежащий по краям горной дороги, с восторгом замечает группы коричневых хижин, гнездящихся вдоль этих покатых садов и блистающих под ветвями сосен. «Здесь, думает он, если и встречается порой трудная и тяжелая работа, то все же, в конце концов, царят невинность, мир и единение человеческой души с природой». Но это не верно. Дикие козы, прыгающие по этим утесам, столько же, и даже, может быть, больше, наслаждаются красотами Божьего мира, чем люди, работающие среди них. Войдите в улицу одной из этих деревень, и вы найдете в ней ту мрачную нечистоту, которая возможна только при апатии или при душевной скорби. Здесь апатия является не результатом безысходного страдания, голода или болезни, а следствием мрака инертного терпения: весну здесь знают только как время косьбы, осень — как время жатвы, солнце — по его теплу, ветер — по его холоду, а горы — по их опасностям. Люди здесь не знают даже слов «красота», «знание» и лишь смутно понимают, что такое добродетель. Любовь,

терпение, гостеприимство, вера, правда знакомы им. Они отличаются от животного и от камня тем, что убирают свои поля, носят безропотно тяжести по горным хребтам, предлагают чужеземцу напиться молока из их кувшинов и видят у подножия низких могил бледную фигуру на кресте, умершую так же безропотно, как умирают и они. Все это они делают, не получая награды в настоящей жизни. Они не ведают ни надежды, ни духовного восторга; они не знают ни прогресса, ни его торжества. Черный хлеб, грубую кровлю, темную ночь, рабочий день, измученные руки при солнечном закате — вот что дает им жизнь. Ни книг, ни мыслей, ни знаний, ни отдыха! Иногда только они присядут не надолго на солнце у церковной ограды, пока негустой звон колокола далеко раздается в горах, и бормочут непонятные молитвы у алтаря тускло позолоченной капеллы, и так вплоть до темной могилы, без всякого просвета в том скалистом мраке, который, порождаясь из диких потоков и разрушительных обвалов, даже не освещается религией, дающей только туман-

ные обещания чего-то неизвестного лучшего, обещания, смешанные с угрозой и омраченные невыразимым ужасом, как фимиамом мученичества, возносящимся вместе с дымом кадильным; и среди изображений истязуемых в пламени тел и скорбящих душ, даже крест кажется им еще более обрызганным каплями крови.

87. Горный пейзаж несомненно прекрасен в своем роде, хотя при ближайшем знакомстве и в нем можно найти темные стороны*. Вот, например, один из многих пейзажей, очень красивый, насколько я могу припомнить, хотя видел их немало. Это маленькая долина мягкой муравы, узкий овал которой окружен выпуклыми скалами и широкими рядами волнующегося папоротника. С одного края до другого извивается, как змейка,

* Этот отрывок написан в противоположность чрезмерному восхвалению одним очень милым шотландским пастором всего льстящего шотландцам в их горной местности. Я рядом с этим отрывком поместил небольшой очерк грустных картин Италии.

светлый поток, струящийся все быстрее к концу овальной долины, и там, окружив малиновую и белую скалу янтарным прудом в чаще рябины и ольхи, ниспадает пенящимся водопадом. Осеннее солнце, низкое, но яркое, освещает красные ягоды рябины и золотистые листья березы, упавшие, там и сям, которые, если ветерок не разносит их, спокойно остаются в трещинах ярко-красной скалы. Около скалы, в ложбине, виднеется занесенный недавним наводнением остов овцы, обнаженный почти до костей, с белыми ребрами, выступающими из-под кожи, и тут же виднеются клочья ее шерсти, висящие на сучьях, за которые зацеплялась эта овца, уносимая потоком. Немного ниже поток с ревом погружается в круглую, как колодец, пучину, окруженную с трех сторон трубковидной впадиной из гладкого камня, вниз по которой пена ниспадает отдельными хлопьями, наподобие снежных.

Вокруг краев пруда вода кружится, как темное масло; на спине лежит маленькая бабочка; крылья ее смочены одним из прибоев, и она

слегка только шевелит лапками; появляется рыба и уносит ее. Внизу потока можно разглядеть зеленые дерновые крыши четырех или пяти лачуг, выстроенных на краю болота, истоптанного скотом в мрачную трясину у самых дверей, где неуклюже набросано несколько камней для перехода, отчасти потонувших в этой грязи, из которой торчат только их обмазанные грязью края, а на повороте ручья я вижу рыболова с мальчиком и собакой; они несомненно представляли бы живописную и красивую группу, если бы не голодали по целым дням. Я знаю их, знаю и то, что ребра собаки почти так же выдаются, как и ребра мертвой овцы; знаю, что исхудалые плечи ребенка до такой степени торчат, что продырявили старую тартановую его куртку.

88. Ничто в мире, вероятно, не производит более сильного впечатления, чем римская Кампанья при закате солнца. Вообразите себе на мгновение, что вдали от шума и всякого движения живого мира вы очутились вдруг одни в этой бесплодной и запущенной

равнине. Как бы легко вы ни ступали, земля рассыпается под вашими ногами; она бела, ноздревата и вся источена, словно остатки человеческих костей. Длинная и шершавая трава слегка волнуется, колеблемая вечерним ветерком, и ее перебегающие тени лихорадочно дрожат над грудами развалин, освещаемых лучами заходящего солнца. Холмики этой сыпучей земли возвышаются волнообразно всюду кругом, как будто мертвецы, покоящиеся под ними, шевелятся во сне. Разбросанные глыбы черного камня — следы величественных зданий, от которых не осталось камня на камне, — навалились на этих мертвецов, как бы для того, чтобы помешать им встать. Серовато-фиолетовый туман, полный миазмов, навис над всей пустыней, застилая таинственные остатки массивных развалин, на которых, в тех местах, где расступается туман, покоится розоватый вечерний свет, словно потухающее пламя на заброшенных алтарях. Синеватая цепь Албанских гор рисуется на величественном фоне неба, зеленоватого, ясного и спокойного.

Мрачные тучи, как сторожевые башни, торчат вдоль отрогов Апеннин. Заброшенные водопроводы, арка за аркой, тянутся от равнины к горам, словно бесчисленные ряды похоронных плакальщиц, оплакивающих могилу народа.

89. Однажды вечером, истомленный жаждой и усталостью, я, проработав над известняковыми скалами, спускался с Rochers de Naye близ Монтрё. Дойдя при повороте тропинки до ключа, проведенного, по обыкновению, пастухами в дупло соснового пня, я остановился и принялся жадно пить. Приподняв голову, чтоб перевести дыхание, я услышал позади себя голос: «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять». Не понимая, откуда этот голос, я повернулся и увидал горнего крестьянина, возвращавшегося в свою хижину с рынка Вевё или Вильнёва. И в то время как я с недоумением все еще смотрел на него, он, продолжая стих Евангелия, сказал: «а кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек».

90. Мне, может быть, позволено* будет отметить здесь значение самых ранних упоминаний о горах, встречаемых в Моисеевом Пятикнижии, или, по крайней мере, тех, где это соединено с Божественным велением или указанием на них. Во-первых, мы видим, что горы служат убежищем для народа Божьего от двух кар: кары водой и огнем. Ковчег останавливается на горе Арарате, и человек, пройдя великое смертное крещение, преклоняет впервые свои колена на земле там, где она ближе всего к небесам, и дым благодарственных жертвоприношений сливается с небесными облаками. И при первой огненной каре веление божества своим слугам выражается в словах: «спасайся на гору». Болезненный страх гор, наполняющий душу человека, после продолжительного пребывания в местах роскоши и греха, сказывается в возражении Лота «но я не могу спасаться на гору, чтоб не застигла меня беда и мне не умереть». Третье упомина-

* В связи с предпочтением, оказываемым всеми более крупными монашескими орденами, горным обителям.

ние о горах, в форме веления, гораздо более торжественно: «Авраам возвел очи свои и увидел то место издалека». «То место», т. е. гору смирны или горечи, избранную для того, чтобы исполнилось обещание, данное Аврааму и его потомству, близкому и отдаленному, и внутреннее значение которого выражено в словах: «возвожу очи мои к горе, откуда придет помощь мне». Четвертое упоминание относится к синайскому законодательству. Таким образом, монахам казалось, что горы предназначены служить для людей убежищем от суда, местами искупления и алтарями освящения и повиновения: затем они видели, что горы самым трогательным и дивным образом связаны со смертью первого посвященного священника, когда миссия его была совершена, первого вдохновенного законодателя и, наконец, с Преображением вечного Первосвященника, Законодателя и Спасителя.

Заметьте связь этих трех событий. Хотя время смерти Аарона и Моисея ускорено было вследствие гнева Божьего, но мы, кажется, не имеем ни малейшего основания заключать,

чтобы способ их смерти должен был носить на себе печать чего-либо оскорбительного или бесчестного. О, далеко нет. Мне кажется, что недозволением вступить в Землю обетованную ограничивалось наказание за их грех и что способ их смерти был определен Господом во всей неиссякаемой полноте благости и любви, как благородное завершение их служения на земле. Нам может казаться, правда, более почетным, если б им дозволено было умереть под сенью скинии, среди сонма израильского народа, если бы они были окружены всеми любимыми ими людьми, собравшимися, чтобы принять последнее наставление из уст кроткого законодателя и последнее благословение от молитвы помазанного священника. Но не так суждено им было умереть. Попытайтесь представить себе картину того, как Аарон расстается навсегда с обществом израильского народа. Тот, кто так часто приносил искупительные жертвоприношения, за их грехи идет теперь, чтоб предать дух свой. Он, который стоял не раз между мертвыми и живыми и видел, как взоры всей этой многочис-

ленной толпы обращены были на него, чтобы благодаря его посредничеству дыхание их жизни было продолжено еще на несколько времени, идет теперь встречать ангела смерти лицом к лицу и предаться в его руки. Попробуйте хоть мысленно представить себе, как эти два брата и сын одного из них проходят мимо лагеря израильского народа и, пока еще роса застилает всю землю кругом, направляются к горе Ор; они в последний раз разговаривают друг с другом и с каждым шагом чувствуют, как все круче становится подъем на скалы, как с каждым часом восходящее солнце освещает все более широкий горизонт и как между расстилающихся холмов Идумеи все яснее обрисовываются извилины длинного пути по пустыни, которому теперь настал уже конец. Но как проникнуть в думы верховного священника, когда его взоры в последний раз пробегали по тропинкам его прежнего странствования, когда в тишине этих бесплодных и бесконечных холмов, расстилающихся вплоть до мрачной Синайской вершины, перед ним раскрывалась вся история этих соро-

ка лет, раскрывалась тайна его собственной миссии, и та другая святая святых, алтарями которой служат горные вершины, а завесой горные облака; когда эта небесная твердь обители его Отца становилась ему все яснее и беспредельнее по мере того, как приближался смертный его час, пока, наконец, на безоблачной вершине брат и сын не сняли с него нагрудник и эфуду и не покинули в объятия того вечного покоя, когда чужие грехи уже не будут тяготеть на нем и позор греховных народов сжигать его сердце? Да, трудно проникнуть в тайну этой спокойной веры, этой глубокой, сдержанной грусти. Смерть Моисея гораздо понятнее, хотя в отношении внешних условий она произошла при еще более трогательных обстоятельствах. В течение сорока лет Моисей не был один. Все заботы, все иго всего народа, его бедствия, вины и смерти постоянно тяготели над ним. Все заботы об этой многочисленной толпе лежали на нем, как на отце, ее слезы были его пищей днем и ночью, пока он не почувствовал, что Бог как бы лишил его своего благоволения, и тогда он молил смерти,

чтоб только не видеть несчастия народа. И вот наконец послышалось веление: «Взойди на сию гору». Усталые руки, которые так долго удерживали врагов Израиля, могут теперь опереться на пастушеский посох, быть сложены на пастушескую молитву, на пастушеский покой. Не чужда его ногам — хотя и неведома в течение сорока лет — была суровость горной тропинки, когда он подымался с утеса на утес горы Аварим; не чужды его престарелым глазам были развевающиеся пучки горных трав и прерывающиеся тени утесов, охраняющих всюду вдали тишину пустынных оврагов; сцены, подобные тем, которые представлялись ему теперь, не раз расстилались перед ним, когда он, опираясь только на помощь Божью, вел свой народ, который теперь так мучительно покинул, взяв на себя предопределенную власть обратить укрепленный город в пустыню и наполнить пустыню звуками победной песни освобождения. Не для того, чтобы наполнить горечью последние часы его жизни Бог восстановил перед ним в этот последний день дорогие для него пустыни, дал

ему возможность вдохнуть мир вековечных скал, окинуть взором тот уголок, где он трудился, грешил и который расстилался там, внизу, у его ног в тумане замирающей синевы; да, теперь все грехи, все скитания будут вскоре забыты навеки. Мертвое море — этот образец Божьего гнева, как это яснее всех людей понимал тот, кто быль свидетелем, как земля раскрывала свою пасть и море свою бездну, дабы поглотить толпы, противящиеся воле Господа — это море расстилалось теперь внизу под ним, а позади его дивные холмы Иудеи и пышные равнины берегов Иордана блистали, обагренные пурпуром вечернего освещения, словно кровью искупления, и блекли в роскошном отдалении, словно в таинственности, полной обещаний и любви. И здесь, с неослабевшим и неомраченным мужеством, окруженный ангелами, поджидавшими, чтобы оспаривать добычу его духа, он сложил свое земное оружие. Мы питаем глубокое благоговение к его сотоварищу — пророку, взятому на колеснице на небо, но разве его смерть была менее величественна, его, погребенного са-

мим, Богом в долине земли Моавитской, где в полной неизвестности по всевышнему определению хранилось в тайне место его погребения, пока в полноте времен он не призван был для беседы со Христом на горе Хермоне, об исходе, который Ему надлежало совершить в Иерусалиме»?

И наконец, подумаем несколько минут о причине воскресения этих двух пророков. Мы все привыкли считать это за нечто мистическое и непонятное, на чем и не стоит останавливаться; мы думаем, что это событие в жизни Христа — одно из вполне для нас непостижимых или что, в лучшем случае, это простое проявление Его божественности в блеске небесного света, когда Ему служили и души умерших, с целью укрепить веру Его трех избранных апостолов. И это, как и многие другие события, о которых повествуют Евангелисты, почти не имеют для нас значения и теряют всякое практическое на нас влияние, потому что мы никогда не признаем во всей полноте ту мысль, что Господь был «совершенный человек», подвергавшийся во

всем таким же искушениям, как и мы. Наши проповедники постоянно пытаются путем всевозможных ухищрений объяснить в Христе слияние Божества с человеком, как бы для доказательства того, что они вполне могут описать самую природу Божества или, другими словами, постичь Бога. Но они никогда не в силах объяснить в единичном случае слияние этих двух естеств и только достигают того, что ослабляют веру слушателей как в то, так и в другое. Им следовало бы настаивать как раз на противоположном, а именно: утверждать полноту в Нем и божеского и человеческого естества. Мы никогда не думаем достаточно о Христе как о Боге никогда достаточно, как о человеке; мы инстинктивно привыкли всегда упускать из виду или Его божественность или человечность. Мы даже страшимся подумать или высказать вслух мысль о том, что Спаситель алкал, уставал, печалился, имея человеческую душу, человеческую волю, и что явления человеческой жизни влияли на Него, как и на другие смертные существа; а между тем, Его искупление на половину, а пример

Его жизни вполне теряет свое значение, если предположить, что Он не вполне страдал, как человек. Поэтому рассмотрите и Преображение, поскольку оно имеет отношение к человеческому естеству нашего Спасителя. Это было первое решительное Его приготовление к смерти. Он предсказал ее ученикам за шесть дней перед тем, затем берет трех из них и удаляется на уединенную гору. С вершины весьма высокой горы Он, принимая на Себя служение жизни, видел и отверг все царства мира и славу их. Теперь на высокой горе Он принимает на Себя служение смерти.

По преданию, Преображение происходило на горе Таборе, но Табор не высокая гора и ни в каком случае не уединенная, так как она в то время была и населена и укреплена. Все непосредственно предшествовавшее служение Христа происходило в Цезареи Филиппийской. Никогда не упоминается о том, чтобы Он направлялся на юг в течение этих шести дней, протекших со времени открытия ученикам о своей смерти и до восшествия на гору. Какая же это могла быть иная гора, как не юж-

ный отрог прекрасной горы Хермон, являющейся центром всей Земли обетованной от впадения Хамата в реку Египта, — отрог плодоносной горы, с которой потоки Иордана спускаются в долины Израиля? Вдоль могущественных рощ, по траве, пышно усеянной горными лилиями, Он направляется к покрытому росой Хермону, чтобы свершить Свое первое моление о чаше; и с вершины ее, прежде чем преклонить колена, Он мог на юге видеть все жилища «народа, сидевшего во тьме, пока не увидел свет великий», землю Завулонову и Нефеалимову, Галилею народов, и мог даже своим человеческим взором узреть блеск озера у Капернаума и Хоразина и многие места, любимые Им и теперь лежащие в запустении и, главным образом, в отдаленной синеве холмы Назарета, спускавшиеся к Его старому дому; холмы, на которых и теперь разбросаны те камни, которые люди хватали, чтобы бросать в Него, когда Он покидал их навсегда.

«И когда Он молился, два мужа стояли с Ним». В числе различных способов, которыми мы лишаем себя помощи и руководства

Св. Писания, едва ли не самый вредный происходит в силу нашей привычки предполагать, что Спаситель, даже как человек, был чужд страха смерти. Как мог бы Он в таком случае испытать наши искушения? Ведь из всех земных испытаний ни одно, возникающее из праха, так не ужасно, как этот страх смерти. Правда, этот страх смерти соединялся в Нем, непонятным для нас образом, с предведением победы так же, как Его печаль о смерти Лазаря с сознанием власти воскресить его. Но Он ведал этот страх смерти во всей полноте его земного ужаса, и это ясно доказывается тем, что, когда Он молился, два мужа предстали пред Ним. Когда Он в пустыне приготовлялся на дело жизни, Ангелы жизни приступили и служили Ему; и теперь, когда он в широком мире облекается на подвиг смерти, служить ему являются мужи из гроба, но гроба побежденного. Один из гроба на горе Аварим, который Он Сам запечатал Своей десницей, другой из того места покоя, куда Он перешел, не ведая тления. «И вот два мужа: Моисей и Илия, говорили с Ним об исхо-

де Его». Затем, когда молитва была окончена, крест взят, впервые с тех пор, как звезда остановилась над Его яслями в Вифлееме, полная слава нисходит на Него с неба и является свидетельство Его божественности и власти: «Его слушайте».

В воспоминание об этих событиях и в своем стремлении следовать по стезям Учителя, религиозные люди былых времен, удаляясь в пустынные горы, порою забывали, а порою и страшились тех обязанностей, которые лежали на них по отношению к деятельному миру. Но это им гораздо простительнее, чем нам, не искать благотворного влияния и не следовать примеру всех людей, писания которых считаются вдохновенными и которые, по примеру их Господа, всегда уединялись, когда им предстояли испытания или когда им нужно было подготовиться к подвигу, превышавшему обычную силу их духа. Точно так же было бы далеко не бесполезно, если бы, вникая в дух прежних веков, мы, рассматривая цепи снежных гор, белеющих на горизонте, вспоминали иногда о том, как Спаситель в их уеди-

нении подготовлялся для подвига спасения человечества, и вдумывались в то, что как огнедышащие горы являются памятниками Его гнева на Синае, так чистые, белоснежные вершины, вздымающиеся к небесам и служащие источниками всех земных благ, являются вместе с тем и памятниками того света Его благости, который, подобно снегу, сиял на горе Преображения.

КОНЕЦ

Содержание

О. В. Разумовская
«Frondes agrestis»: осенние листья
Джона Рёскина 5

Джон Рёскин
СЕЛЬСКИЕ ЛИСТЬЯ 29
Предисловие 31
Отдел I. Принципы искусства 34
Отдел II. Сила и назначение
воображения 44
Отдел III. Небо 73
Отдел IV. Реки и моря 104
Отдел V. Горы 115
Отдел VI. Камни 151
Отдел VII. Растения и цветы 160
Отдел VIII. Воспитание 189
Отдел IX. Нравственные правила 202

Литературно-художественное издание
Искусство и действительность

Рёскин Джон

Сельские листья
Избранные отрывки
из «Современных художников»

Генеральный директор издательства *С. М. Макаренков*

Выпускающий редактор *Д. Рублёва*
Технический редактор *Е. Крылова*
Компьютерная верстка: *Т. Мосолова*
В оформлении издания использована картина
Джона Эверетта Милле «Осенние листья» (1856)
Художественное оформление: *Е. Саламашенко*
Корректор *В. Павлова*

12+

Знак информационной продукции согласно
Федеральному закону от 29.12.2010 г. N 436-ФЗ

Подписано в печать 29.05.2018 г.
Формат 80×100/32.
Гарнитура «Garamond Premier Pro».
Усл. п. л. 11,1

Адрес электронной почты: info@ripol.ru
Сайт в Интернете: www.ripol.ru

ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик»
109147, г. Москва, ул. Большая Андроньевская, д. 23

Отпечатано: Публичное акционерное общество
«Т8 Издательские Технологии»
109316, г. Москва, Волгоградский проспект, дом 42, корпус 5
www.t8group.ru; info@t8print.ru
тел.: 8 (499) 332-38-30